This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ARMOIRE Nuovo
RAYON III
N° 160.

ДАЛЬ ЗОВЕТЪ

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СКИТАЛЬЦА

Графъ А. Голенищевъ-Кутузовъ

ДАЛЬ ЗОВЕТЪ

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СКИТАЛЬЦА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1907

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Если сонъ твой спокоенъ и тихъ,
Если нѣтъ въ твоемъ сердцѣ печали,
Не внимай шепотъ сказокъ моихъ,
Не смотри въ ихъ просторы и дали.
Призракъ счастья не вѣренъ... маня
Онъ не сдержитъ святыхъ обѣщаній
И, въ бреду пробужденныхъ желаній,
Проклянешь ты, быть можетъ, меня.

Мои сказки для тѣхъ, въ чьихъ сердцахъ
Нѣтъ покоя и нѣтъ примиренья;
Кто, тоскуя въ житейскихъ потьмахъ,
Неземныя зоветъ сновидѣнья;
Кто къ звѣздамъ, въ голубой небосводъ
Шлетъ призывъ изъ земного тумана—
И за лучъ, за мгновенье обмана
Мнѣ признательно руку пожметъ.

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Если сонъ твой спокоенъ и тихъ,
Если нѣтъ въ твоемъ сердцѣ печали,
Не внимай шепотъ сказокъ моихъ,
Не смотри въ ихъ просторы и дали.
Призракъ счастья не вѣренъ... маня
Онъ не сдержитъ святыхъ обѣщаній
И, въ бреду пробужденныхъ желаній,
Проклянешь ты, быть можетъ, меня.

Мои сказки для тѣхъ, въ чьихъ сердцахъ
Нѣтъ покоя и нѣтъ примиренья;
Кто, тоскуя въ житейскихъ потьмахъ,
Неземныя зоветъ сновидѣнья;
Кто къ звѣздамъ, въ голубой небосводъ
Шлетъ призывъ изъ земного тумана—
И за лучъ, за мгновенье обмана
Мнѣ признательно руку пожметъ.

«Не имамы здѣ пребывающаго града».

Посланіе Ап. Павла къ Евреямъ.

«Ich wandle still, bin wenig froh,
Und immer fragt der Säufzer—wo?»

„Der Wanderer“.

I.

Надняхъ узналъ я изъ газетъ о смерти N, человѣка, съ которымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ случайно познакомился заграницей, а потомъ, въ продолженіе слѣдующей зимы, часто видался въ Петербургѣ и даже свелъ дружбу. N не принадлежалъ къ петербургскому обществу, жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, знакомствъ въ городѣ почти не имѣлъ и, вѣроятно, отъ скуки довольно часто сталъ заходить по вечерамъ ко мнѣ на огонекъ, посидѣть и побесѣдовать въ кругу моей семьи. Мнѣ нравилась въ немъ полная оторванность отъ будничныхъ и чиновничьихъ злобъ дня, которыя всецѣло поглощаютъ жизнь коренного петербуржца. Не будучи самъ ни художникомъ, ни музыкантомъ, ни литераторомъ, N горячо увлекался и литературой, и музыкой и живописью, былъ вообще очень свѣдущъ по части искусства, много на своемъ вѣку путешествовалъ и, когда чувствовалъ себя въ ударѣ, умѣлъ говорить красно и увлекательно. Два предмета, которые мы тогда называли его коньками, имѣли свойство во всякое время съ особенной силой возбуждать его краснорѣчіе—му-

зыка Вагнера и Римъ. Бывало, слушая, какъ N вспоминалъ о представленіяхъ Вагнеровскихъ оперъ въ Германіи, или о своихъ пребываніяхъ въ Вѣчномъ городѣ, не замѣчалось, какъ проходилъ вечеръ и часовая стрѣлка забѣгала далеко за полночь. Не прошло и мѣсяца со дня его перваго посѣщенія, какъ N сталъ у меня совсѣмъ домашнимъ человѣкомъ. Мой старый слуга, Антипъ, пускалъ его безъ доклада, моська спокойно укладывалась храпѣть на его колѣняхъ; всѣ къ нему привыкли, да и онъ самъ, кажется, чувствовалъ себя у насъ, какъ дома.

Пріятныя отношенія эти, однако, продолжались недолго. Въ одинъ прекрасный вечеръ, уходя ранѣе обыкновеннаго, N, какъ ни въ чемъ не бывало, объявилъ, что спѣшитъ домой укладывать вещи и завтра уѣзжаетъ изъ Петербурга.

— Куда?—озадаченно спросилъ я.

— Не знаю еще хорошенько; пока направлюсь въ Берлинъ; а потомъ, вѣроятно, поѣду въ Италію.

— Помилуйте, теперь еще въ Италіи холодъ, февраль мѣсяцъ.

— Какой въ Италіи холодъ!—скоро фруктовыя деревья зацвѣтутъ.

— Да что собственно заставляетъ васъ ѣхать въ Италію? надобность какая-нибудь встрѣтилась?

— Надобности никакой; просто пора уѣзжать; я и такъ въ Петербургѣ зажился.

— Соскучились съ нами?

— Ахъ, нѣтъ,—возразилъ N,—мнѣ въ Петербургѣ было очень хорошо, очень пріятно. Ваше радушное гостепріимство...

— Не въ гостепріимствѣ дѣло,—перебилъ я,— а зачѣмъ вы торопитесь уѣзжать?

N прищурился, и обыкновенно прямой и ясный взглядъ его принялъ неопредѣленно-блуждающее выраженіе, какъ у человѣка, прислушивающагося во время разговора къ чему-то совершенно постороннему.

— Зачѣмъ тороплюсь уѣзжать?—медленно произнесъ онъ, какъ бы обращаясь къ самому себѣ,— даль зоветъ! — И съ очевиднымъ желаніемъ, прекратить непріятный для него разговоръ, добавилъ:— я уже и мѣстомъ въ спальномъ вагонѣ запасся.

Признаюсь, этотъ внезапный отъѣздъ N меня раздосадовалъ и даже показался нѣсколько обиднымъ. Во мнѣ заговорило себялюбіе закоренѣлаго домосѣда, для котораго всякое нарушеніе разъ принятой привычки является чуть ли не бѣдствіемъ. Развѣ порядочные люди такъ поступаютъ! развѣ позволительно вдругъ, безъ предупрежденія, безъ всякой надобности взять, да уѣхать за границу, бросить людей, съ которыми близко сошелся, у которыхъ былъ принятъ въ домѣ, какъ членъ семьи? съ кѣмъ я буду теперь проводить пріятно свободное отъ службы и свѣтскихъ обязанностей время? И какой глупый предлогъ: даль зоветъ! Какая такая даль и какъ это она зоветъ?

На слѣдующій день я пріѣхалъ проводить N на вокзалъ Варшавской желѣзной дороги не столько для того, чтобы оказать ему любезность, сколько съ цѣлью добиться болѣе обстоятельнаго объясненія. Но объясненія я никакого не добился. N явился на станцію передъ самымъ отходомъ поѣзда, горячо

благодарилъ меня, суетился и на всѣ мои вопросы или отшучивался, или отмалчивался.

— Будете ли мнѣ хотя писать? — спросилъ я, когда послѣ третьяго звонка, пожимая мнѣ руку, N входилъ уже въ вагонъ.

— Непремѣнно, — отвѣчалъ онъ и хотѣлъ еще что-то добавить, но кондукторъ шумно захлопнулъ дверь, локомотивъ вздохнулъ и поѣздъ тронулся.

II.

Болѣе трехъ лѣтъ спустя, когда я уже началъ совершенно забывать о существованіи моего невѣрнаго пріятеля, получилъ я наконецъ отъ него письмо, помѣченное Римомъ и посылку, развернувъ которую, я нашелъ четыре весьма неровной толщины тетради, исписанныя мелкимъ убористымъ почеркомъ. Онѣ содержали въ себѣ нѣчто въ родѣ автобіографіи N, въ видѣ обращенныхъ ко мнѣ отъ его имени разсказовъ, носившихъ каждый особое заглавіе. Согласно данному мнѣ авторомъ въ письмѣ разрѣшенію, я печатаю эту рукопись. Она можетъ показаться любопытной, какъ откровенное и, кажется, вѣрное самоопредѣленіе человѣка, принадлежащаго къ довольно распространенному на Руси типу переходнаго времени, то есть второй половины девятнадцатаго столѣтія. Отъ болѣе подробнаго опредѣленія этого типа я воздерживаюсь, предоставляя это сдѣлать самому читателю.

III.

Въ своемъ письмѣ N писалъ мнѣ слѣдующее:

«Уѣзжая изъ Петербурга, я далъ вамъ слово писать; но нѣкоторыя обстоятельства до сихъ поръ препятствовали осуществленію этого намѣренія. Теперь, хотя поздно, но исполняю обѣщаніе, тѣмъ съ большей притомъ охотой, что, чувствуя себя нѣсколько передъ вами виноватымъ, хотѣлъ бы не то что оправдаться, а объясниться и хоть отчасти отвѣтить на вашъ настоятельно-дружескій вопросъ: зачѣмъ я такъ внезапно покинулъ Петербургъ, безъ всякой сколько-нибудь уважительной видимой причины? Когда я встрѣтилъ васъ на вокзалѣ и понялъ, что вы искренно опечалены моимъ бѣгствомъ и даже какъ будто на меня за него сердитесь, у меня мелькнула въ головѣ мысль: не остаться ли? Можетъ быть я бы и остался, если бы не принадлежалъ къ породѣ тѣхъ неизлечимыхъ и неисправимыхъ бродягъ, которыхъ, что волка, какъ ни корми—все его въ лѣсъ тянетъ! Для здравомыслящаго и уравновѣшеннаго человѣка, какъ вы, обладающаго теплымъ насиженнымъ гнѣздомъ и семьей, имѣющаго при томъ опредѣленное дѣло, или, какъ говорится, цѣль въ жизни, это бродяжничество, конечно, должно казаться страннымъ, непонятнымъ, даже предосудительнымъ; но что же дѣлать! Противъ природы не пойдешь. Какимъ я былъ въ юности, такимъ остаюсь и понынѣ, когда приближающаяся старость властно проступаетъ сѣдиною въ

головѣ и скукою въ мысляхъ; по всей вѣроятности, не измѣнюсь я и до конца моихъ дней.

Послѣднее мое пребываніе въ Петербургѣ, сближеніе съ вами и вашей милой семьей, вечера, проведенные въ вашемъ уютномъ кабинетѣ, въ мягкихъ, покойныхъ креслахъ, передъ пылающимъ каминомъ, при свѣтѣ дремлющихъ подъ длинными цвѣтными абажурами лампъ, наконецъ, наши мирныя, хотя подчасъ и очень оживленныя бесѣды и поздніе ужины, приводившіе въ такое раздраженное состояніе вашего вѣрнаго Антипа—все это, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ жизни заставило меня усомниться въ самомъ себѣ; бывали даже мгновенія, когда я, залюбовавшись вашимъ спокойнымъ домосѣдствомъ, спрашивалъ себя, не въ немъ ли могу и я найти свое счастье? Но достаточно мнѣ было окончательно и ясно поставить себѣ этотъ вопросъ, чтобы безъ всякаго колебанія, также ясно и окончательно (конечно, имѣя въ виду не кого либо другого, а только себя)—отвѣтить: нѣтъ!

И какъ только я себѣ это отвѣтилъ, такъ тотчасъ же и затосковалъ въ Петербургѣ. Притягательная сила вашего гостепріимнаго дома сначала ослабла, а затѣмъ и совсѣмъ исчезла. Въ воображеніи стали опять и опять рисоваться другіе люди, другія страны, подъ другимъ небомъ и солнцемъ... Я не выдержалъ! Выправилъ заграничный паспортъ, купилъ желѣзнодорожный билетъ и пошелъ съ вами прощаться. Помните, какъ вы удивились, и какъ на желаніе ваше получить отъ меня объясненіе моего страннаго поведенія, я сумѣлъ отвѣтить только двумя словами: даль зоветъ.

Эти два слова, конечно, вамъ ничего не объяснили; понять ихъ значеніе сразу могъ бы только такой же прирожденный бродяга, какъ я; но теперь, на досугѣ, живя въ Римѣ, мнѣ вздумалось написать вамъ не заурядное письмо, какими обыкновенно угощаютъ туристы своихъ любознательныхъ знакомыхъ, а сводъ впечатлѣній, мыслей и чувствъ, накопившихся во мнѣ за долгіе годы моей скитальческой жизни — если хотите, нѣчто подобное исповѣди, въ которой я попытаюсь объяснить вамъ самого себя, а также смыслъ все тѣхъ же двухъ словъ: даль зоветъ.

Это совсѣмъ не такъ кратко и просто, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Только ваше дружеское ко мнѣ расположеніе (которое, вы могли подумать, я недостаточно оцѣнилъ) даетъ мнѣ нѣкоторое право, а можетъ быть и налагаетъ на меня обязанность, взять въ руки перо и приняться за это объясненіе. Если оно вамъ покажется длиннымъ и скучнымъ—бросьте мое писаніе въ каминъ; я не обижусь. Если же, напротивъ, вы его найдете достойнымъ вниманія, можете не только давать кому угодно на прочтеніе, но, послѣ моей смерти, (которой, судя по состоянію моего здоровья мнѣ ждать уже недолго) — даже напечатать. Всѣ собственныя имена дѣйствующихъ лицъ замѣнены именами вымышленными, а себѣ я придумалъ прозвище, связанное съ отрадною для меня мыслью о мѣстѣ послѣдняго упокоенія: я назвалъ себя Погостовымъ. Выборъ этотъ нѣсколько отзывается давно отжившими формами романтизма; однако,

самъ по себѣ, романтизмъ продолжаетъ жить въ глубинѣ человѣческой души, и я не вижу никакой надобности отъ него чураться, когда случайно онъ поднимаетъ во мнѣ свой тихій, задумчивый голосъ. Впрочемъ, это подробность, на которой не стоитъ останавливаться».

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ.

На порогѣ.

I.

Начиная повѣствованіе, прежде всего я долженъ вамъ признаться, что двадцать слишкомъ лѣтъ, т. е. довольно значительную часть жизни, прожилъ не догадываясь, что по природѣ своей принадлежу къ числу бродягъ; да и тогда не самъ я догадался объ этомъ, а открыла во мнѣ это свойство одна дѣвушка, въ которую я былъ влюбленъ и которая тоже меня любила.

Юношеское приключеніе (громкимъ названіемъ романа встрѣчу мою съ этой дѣвушкой никакъ назвать нельзя)—кончилось ничѣмъ, но я разскажу вамъ его, потому что оно имѣло рѣшающее въ жизни моей значеніе.

Я жилъ тогда съ матерью въ Москвѣ, окончивъ передъ тѣмъ курсъ въ университетѣ, но еще не выбравъ родъ жизни—проще говоря—полка, вѣдомства, или канцеляріи, куда бы поступить на службу.

Отецъ мой былъ богатый и именитый петербургскій сановникъ; мать же скромная москвичка, не примкнувшая за все время своего двѣнадцатилѣтняго замужества къ высшему петербургскому обществу и послѣ смерти отца возвратившаяся въ свой родной городъ, гдѣ имѣла сестру, игуменью въ одномъ изъ женскихъ монастырей, и деревянный съ мезониномъ домикъ, въ одномъ изъ переулковъ между Остоженкой и Арбатомъ.

Отецъ умеръ, когда мнѣ минуло одиннадцать лѣтъ, и все мое дѣтство и юность я провелъ—по зимамъ въ этомъ деревянномъ съ мезониномъ домикѣ, ходя въ гимназію, а затѣмъ въ университетъ. по лѣтамъ же уѣзжая съ матерью въ родовое отцовское имѣніе, сельцо Ракитное, которымъ мать управляла въ качествѣ опекунши и которое доставляло намъ средства къ безбѣдному существованію.

Всѣ эти мало любопытныя подробности я разсказываю для того, чтобы яснѣе было для васъ, въ какихъ условіяхъ я находился, когда произошла вышеупомянутая встрѣча.

II.

Была ранняя весна. Вспоминается мнѣ, какъ въ Вербное воскресенье, выходя послѣ обѣдни на паперть церкви того монастыря, гдѣ тетка моя была игуменьей, я встрѣтился лицомъ къ лицу съ дѣвушкой, не первой уже молодости, въ черномъ платьѣ монастырской послушницы,

съ чернымъ платкомъ на головѣ. Она какъ-то удивленно и пристально взглянула на меня, но тотчасъ же опустила глаза и прошла мимо. Этотъ взглядъ запалъ мнѣ въ душу; въ немъ было что-то загадочное, призывное и, разъ увидавъ, я уже не могъ его позабыть. Счастливая, а можетъ быть и несчастная случайность (я самъ до сихъ поръ не могу рѣшить) дала мнѣ возможность нѣсколько дней спустя ближе познакомиться съ этой дѣвушкой. Звали ее Матрешей. Она, какъ потомъ оказалось, не принадлежала къ числу постоянныхъ обитательницъ монастыря и только отъ времени до времени приходила туда, погостить къ родственницѣ. Эти посѣщенія, конечно, допускались не иначе, какъ съ разрѣшенія игуменьи, но игуменья всегда очень охотно его давала. У Матреши былъ особый, довольно рѣдко встрѣчающійся даръ: она превосходно читала по-славянски, а тетка моя любила на сонъ грядущій слушать чтеніе священныхъ книгъ; монастырскія же чтицы ее не удовлетворяли. Во время пребыванія Матреши въ Москвѣ, ее по вечерамъ призывали въ игуменскую келью, и когда, помолившись Богу, старуха ложилась въ постель, Матреша становилась передъ образомъ за аналой, раскрывала лежащую на немъ толстую въ кожаномъ переплетѣ книгу Миней Дмитрія Ростовскаго и, при мерцаніи тусклой восковой свѣчи, начинала читать житіе святого, память котораго чествовалась на слѣдующій день.

Тетка моя, хотя и засыпала обыкновенно не дослушавъ чтенія до конца, была, однако, въ восторгѣ

отъ этого чтенія и въ особенности отъ голоса Матреши.—Такой голосъ, такой голосъ,—говорила она,—просто музыка! Такъ прямо въ душу и просится!

Случилось такъ, что въ это именно пребываніе Матреши въ Москвѣ, когда я встрѣтился съ нею на церковной паперти, мать моя, наслушавшись восторженныхъ отзывовъ своей сестры, вздумала позвать Матрешу къ себѣ, не столько чтобы послушать ея чтеніе, сколько для того, чтобы поразспросить ее о святыхъ мѣстахъ и монастыряхъ, которыхъ, по слухамъ, дѣвушка посѣтила уже не мало.

Я присутствовалъ при первомъ свиданіи Матреши съ моею матерью. Дѣвушка оказалась очень плохой разсказчицей; отвѣчала только на прямые вопросы, да и то отрывисто и несвязно. У нея былъ какой-то странный, чисто дѣтскій смѣшокъ, который, когда набѣгалъ на ея лицо, придавалъ ему не то наивное, не то даже глупенькое выраженіе. Но, повторяю, взглядъ ея медленныхъ, сѣрыхъ съ длинными рѣсницами глазъ былъ удивителенъ! Въ немъ разверзалось темное пространство, подобное глубокому подземелью, въ концѣ котораго, когда она вскидывала глаза, брежжилъ таинственный огонекъ. Вотъ въ этотъ-то огонекъ я и влюбился—влюбился такъ, какъ можетъ влюбиться только двадцатилѣтній юноша, выросшій въ здоровой, трезвой, однообразной обстановкѣ стараго московскаго дома и захолустнаго помѣстья, подъ заботливымъ наблюденіемъ строгой матери, въ сосѣдствѣ монастыря, села и лѣса.

Нужно вамъ сказать, что я учился прилежно и успѣшно; съ гимназическими и университетскими товарищами знался мало и по воскресеньямъ и праздникамъ ходилъ съ матерью къ церковнымъ службамъ въ монастырь, что̀, однако, не мѣшало мнѣ страстно увлекаться процвѣтавшимъ тогда въ Москвѣ Малымъ театромъ и концертами въ Дворянскомъ собраніи подъ управленіемъ знаменитаго Николая Рубинштейна.

Въ деревнѣ я хозяйствомъ не занимался; имъ завѣдывала моя мать, предоставляя мнѣ во время каникулъ полную свободу. Я пропадалъ по цѣлымъ днямъ на охотѣ; случалось даже, забредя далеко отъ дома, ночевать въ лѣсу, въ полѣ или гдѣ-нибудь въ пустырѣ подъ стогомъ сѣна.

Что это были за чудныя, благодатныя ночи! Кругомъ тихо и ни души; гдѣ-то вдали побрякиваютъ колокольцами пасущіяся въ ночномъ лошади; надъ головой звѣздное небо, въ воздухѣ пахнетъ росой и полынкомъ. Усядешься позднимъ вечеромъ гдѣ-нибудь на пригоркѣ, у опушки лѣса, смотришь на разстилающійся предъ глазами просторъ, подернутый дымкой зареваго или луннаго тумана, и самъ не знаешь, о чемъ думаешь? чему улыбаешься? чему радуешься? Чувствуешь только, что красенъ Божій міръ и хороша жизнь! Не знаю, такъ ли теперь живутъ молодые люди, какъ я жилъ въ годы моей юности? Кажется, что нѣтъ; а жаль! Съ тѣхъ поръ прошло болѣе четверти вѣка, но и теперь, давно и навсегда оторванный судьбою отъ всего прошлаго, отъ семейнаго гнѣзда, даже отъ

родины, я съ благоговѣйнымъ умиленіемъ вспоминаю эти годы чистой, свѣтлой молодости, и воспоминанье о нихъ меня живитъ и примиряетъ съ холодомъ и горечью никому ненужнаго моего существованія.

Но возвращаюсь къ прерванному разсказу.

Посѣщенія Матрешей нашего дома не ограничились однимъ разомъ. Моя мать вообще любила принимать у себя странницъ, а Матреша понравилась ей еще и тѣмъ, что, при всей своей застѣнчивости и скромности, держала себя съ большимъ достоинствомъ и всегда, хотя и безъ всякой обиды, упорно отказывалась отъ какихъ-либо подачекъ.

— За ласку благодарю, а больше ничего мнѣ не нужно, — неизмѣнно отвѣчала она каждый разъ, когда мать, по привычкѣ обращенія съ другими странницами, совала ей въ руку деньги.

Мѣсяцъ спустя, когда мать моя къ Матрешѣ попривыкла, она даже спросила у нея:

— Да чѣмъ же вы живете?

— Родители не оставляютъ,—отвѣчала Матреша.

— А кто ваши родители?

— Отецъ хлѣбомъ въ Ярославлѣ торгуетъ; онъ и матушка меня не оставляютъ, даромъ что я...

Дѣвушка замолчала.

— Что вы?—какъ-то совершенно неожиданно для самого себя спросилъ я и тутъ же понялъ, что спрашивать объ этомъ какъ будто и не слѣдовало и что разговоръ становился похожимъ на какой-то допросъ.

Какъ при первой встрѣчѣ на паперти, Матреша удивленно и пристально посмотрѣла на меня, но не смутилась, не опустила головы и, продолжая

прямо смотрѣть мнѣ въ глаза, какъ-то особенно твердо проговорила:

— Я вѣдь отъ родителей безъ согласія ихъ ушла, когда Господь позвалъ меня на странничество.

Хотя мнѣ было очень совѣстно, — я даже, кажется, покраснѣлъ—но не могъ удержаться и спросилъ еще:

— Какъ же это васъ Господь на странничество позвалъ?

Дѣвушка улыбнулась.

— Какъ позвалъ? извѣстно, какъ и другихъ... заскучала дома, ну и ушла...

Когда Матреша простилась, я наскоро одѣлся и, нагнавъ ее на улицѣ, сталъ извиняться за вопросы, которые ей могли показаться неумѣстными.

— Совсѣмъ напротивъ,—весело отвѣчала она,— стало быть вы ко мнѣ добры, если спрашиваете.

— Какъ я радъ! значитъ, вы не сердитесь, значитъ, я могу спрашивать еще; вашу жизнь, ваше прошлое — все, что до васъ касается я хотѣлъ бы знать. Такихъ, какъ вы, я еще не встрѣчалъ.

— Полноте,—возразила дѣвушка,—такихъ, какъ я, много. Многихъ зоветъ Господь, только не всѣ рѣшаются идти... боятся, а я не побоялась—вотъ и все... Если хотите, я вамъ про себя разскажу; только не сейчасъ,—спохватились она, замѣтивъ мое радостное движеніе,—въ другой разъ, когда-нибудь; а теперь мнѣ въ монастырь пора.

Она остановилась, по-монашески поклонилась мнѣ въ поясъ, произнесла обычное «спаси васъ Господи» и, не взглянувъ на меня, быстрыми ша-

гами перешла улицу и скрылась за угломъ ближайшаго переулка. Я растерянно посмотрѣлъ ей вслѣдъ, постоялъ нѣсколько мгновеній и побрелъ обратно домой.

Мною овладѣла и меня занимала только одна мысль: когда я опять увижусь съ Матрешей и когда она мнѣ подробно разскажетъ, какъ Господь позвалъ ее на странничество.

Увидался я съ ней черезъ три дня и—могъ ли предвидѣть?—это незабвенное для меня свиданіе было послѣднимъ!

Наканунѣ, во время моего отсутствія изъ дому, Матреша заходила къ моей матери проститься. Она внезапно собралась уходить изъ Москвы, сначала къ Сергію Преподобному въ Лавру, а затѣмъ и дальше, въ Кіевъ, въ Саровъ.

— Тебѣ кланяться приказала, — сказала мнѣ мать, разсказывая о своемъ прощаніи съ дѣвушкой, которое было даже трогательно: мать расплакалась, а Матреша все благодарила за доброту и ласку и обѣщала молиться за насъ обоихъ предъ мощами угодниковъ.

— Стало быть, она больше не зайдетъ къ намъ?— спросилъ я, стараясь сохранить наружное спокойствіе.

— Должно быть, нѣтъ; завтра послѣ ранней обѣдни хочетъ пуститься въ путь; гдѣ же заходить?.. совсѣмъ простилась.

III.

На другой день я увидалъ Матрешу за ранней обѣдней въ монастырѣ. Она стояла на обычномъ своемъ мѣстѣ, въ углу церкви, около окна. Утренніе лучи солнца ударяли ей въ лицо. Оно было блѣдно и строго; такого выраженія я еще никогда не встрѣчалъ на этомъ простомъ, незначительномъ, до мельчайшихъ подробностей миломъ мнѣ лицѣ.

Служба шла не въ главномъ алтарѣ, а въ боковомъ маломъ придѣлѣ. Были будни, и молящихся въ храмѣ было мало: нѣсколько стариковъ и старушекъ стояло по стѣнамъ, нѣсколько монахинь пѣло на клиросѣ. Двѣ, три другія безшумно и плавно блуждали по церкви, поправляя свѣчи и лампады передъ иконами. Игуменское мѣсто было пусто.

Матреша тотчасъ же замѣтила меня, когда я вошелъ; она даже какъ будто испугалась и отодвинулась глубже въ уголъ, такъ что солнце перестало освѣщать ея лицо. Я видѣлъ только, какъ губы ея сжались и глаза опустились; она такъ и не подняла ихъ до конца службы и простояла неподвижная, какъ изваянье.

Передъ самымъ окончаніемъ обѣдни я подошелъ къ ней и спросилъ шопотомъ:

— Вы сегодня уходите изъ Москвы?

— Да, ухожу,—также шопотомъ отвѣтила она.

— А какъ же вы обѣщали мнѣ разсказать о себѣ... помните... три дня тому назадъ? Когда же вы исполните ваше обѣщаніе?

Матреша опустила голову и молчала.

— А я этого такъ ждалъ... съ такимъ нетерпѣніемъ! — продолжалъ я, — такъ мнѣ хотѣлось васъ еще послушать!.. Неужели мы больше не увидимся?

Матреша продолжала молчать.

Обѣдня кончилась; молящіеся стали выходить изъ церкви.

— Вы мнѣ и отвѣчать не хотите... Ну что же дѣлать?.. прощайте...—произнесъ я дрогнувшимъ голосомъ и также направился къ выходу.

Дѣвушка не двинулась; но когда я, выйдя изъ церкви и миновавъ монастырскій дворъ, остановился у воротъ ограды, я увидалъ Матрешу, торопливо спускавшуюся по ступенямъ паперти. Она смотрѣла мнѣ вслѣдъ и прямо шла ко мнѣ. Я подождалъ ее, и мы вмѣстѣ вышли за ворота.

— Вы не сердитесь на меня?—заговорила она, продолжая быстро идти рядомъ со мной.—Я не то что не хотѣла вамъ отвѣчать—я молчала, потому что думала, какъ мнѣ быть? Мнѣ жаль было, что не застала васъ вчера, когда приходила прощаться съ маменькой вашей. Мнѣ очень хотѣлось и съ вами тоже проститься... ну, вотъ и привелъ теперь Богъ...

Мы шли по безлюдному, окаймленному длинными заборами и рѣдкими деревянными домиками переулку, куда намъ вовсе не лежала дорога. Впрочемъ, мы не шли куда-нибудь опредѣленно, а просто, по внезапному, безмолвно обмѣненному уговору, спѣшили удалиться отъ людей, уединиться. Въ концѣ переулка начинались какіе-то пустыри, теперь, кажется, уже давно застроенные,

а тогда совершенно безлюдные. Все это довольно обширное пространство общимъ склономъ спускалось къ Москвѣ-рѣкѣ и служило для ближайшихъ обывателей мѣстомъ свалки разнаго строительнаго матеріала; но по пригоркамъ и оврагамъ росла трава и кое-гдѣ зеленѣли березки, что придавало этому мѣсту видъ мирнаго деревенскаго уголка.

— Вы все хотите, чтобы я вамъ про себя разсказала, про свою жизнь,—продолжала между тѣмъ дѣвушка.—Право же, нѣтъ ничего любопытнаго въ моей жизни! Ну что же?—росла въ родительскомъ домѣ, у меня и братья и сестры еще есть, только я не въ нихъ уродилась; они веселые, а я съ дѣтскихъ лѣтъ люблю уединенье. Въ Ярославлѣ у насъ хорошо: Волга протекаетъ, лѣсовъ много, есть гдѣ погулять, Божьей природой полюбоваться, пѣвчихъ птицъ послушать. Монастыри тоже есть... Что же еще вамъ сказать? Хотѣлъ меня отецъ выдать замужъ, когда мнѣ пошелъ семнадцатый годъ; даже жениха уже сосватали. Много я тутъ горя натерпѣлась....

Матреша, очевидно, старалась сжать по возможности свой разсказъ и быстро кидала отрывочныя, недоговоренныя фразы, предоставляя мнѣ угадывать и дополнять остальное.

— Вамъ женихъ не понравился?—спросилъ я.

— Нѣтъ, женихъ былъ ничего,—хорошій. Тогда онъ въ приказчикахъ у отца служилъ; а теперь уже самъ хозяиномъ сталъ; тоже, какъ и отецъ, хлѣбомъ торгуетъ.

— Отчего же вы не пошли замужъ?

— Я-то замужъ?—переспросила дѣвушка и засмѣялась.—Нѣтъ! Насмотрѣлась я, какъ замужнія-то живутъ: словно на цѣпи, при хозяинѣ, съ дѣтьми... вотъ тоска-то!

Она взглянула на меня, и далекій, едва замѣтный обыкновенно огонекъ горѣлъ теперь близко и ярко.

— Воли своей отдать не захотѣла,—рѣшительно проговорила она.—Ужъ если кому ее и отдавать цѣликомъ, такъ не людямъ, а Богу... Я и ушла въ монастырь.

— Развѣ въ монастырѣ лучше, чѣмъ въ міру?—тамъ тоже неволя.

— Такъ-то такъ; а все же лучше... Впрочемъ,—добавила дѣвушка, не то въ раздумьи, не то въ смущеньи,—я и въ монастырѣ не ужилась; годъ только пробыла—тоже заскучала. Тутъ-то Господь и позвалъ меня на странничество. Вѣдь я постриженія не могла еще принять, мнѣ можно было уйти.

— Куда же вы ушли?

— Старица одна знакомая, матерью Анной зовутъ, взяла меня съ собой на богомолье; въ Оптину пустынь къ старцу привела; такъ и такъ, молъ, дѣвушка страннической подвигъ подъять хочетъ. Старикъ посмотрѣлъ на меня, покачалъ головою, ничего не сказалъ, а все же благословилъ... вотъ я и странствую съ тѣхъ поръ шестой уже годъ...

— И довольны вашей судьбой?

— Благодарить Бога,—до сихъ поръ не скучала.

Въ разговорѣ мы незамѣтно для насъ миновали послѣднія строенія переулка, прошли какой-то тропинкой по пустынному склону и очутились въ

небольшомъ овражкѣ, поросшемъ травой и кустарникомъ. Предъ нами подъ обрывомъ текла Москва-рѣка, а за нею въ лучахъ солнца туманилось Замоскворѣчье и высились очертанія Воробьевыхъ горъ. Мы остановились.

— Какъ хорошо!—вырвалось у меня невольное восклицаніе.—Побудемте здѣсь, поговоримъ еще. Скажите мнѣ, зачѣмъ вы уходите изъ Москвы?

Дѣвушка осмотрѣлась. Неподалеку у стѣнки песчанаго обрыва лежалъ большой полувросшій въ землю камень. Не отвѣчая мнѣ, она подошла къ нему, сѣла, и я почувствовалъ опять на себѣ тотъ глубокій, пристальный ея взглядъ, отъ котораго мнѣ всегда становилось нѣсколько жутко.

— Что вамъ отъ меня нужно? — медленно и отчетливо произнесла она.

Я потерялся. Я никакъ не ожидалъ этого до грубости прямого, но въ сущности единственнаго имѣвшаго въ ту минуту для нея и для меня значеніе вопроса. Я смущенно молчалъ. Ей какъ будто стало меня жаль.

— Сядьте здѣсь,—смягченнымъ голосомъ заговорила она, отодвигаясь на край камня и тщательно обертывая ноги въ полы своей черной поношенной рясы.—Вы желаете поговорить?... поговоримъ. Вотъ сейчасъ въ церкви я молчала, а теперь вы мнѣ не отвѣчаете: что вамъ отъ меня нужно? зачѣмъ вы не хотите, чтобы я уходила изъ Москвы? на что я вамъ?

— Какъ на что!—съ горечью перебилъ я,—да я не знаю, что теперь буду и дѣлать! Мнѣ и поду-

мать страшно, какъ я здѣсь останусь одинъ, когда вы уйдете, когда мы не будемъ больше встрѣчаться! Вѣдь я во все послѣднее время только объ васъ и думаю, только вами и живу... и это съ первой же минуты, какъ увидалъ васъ въ Вербное воскресенье на паперти... помните?

— Помню,—прошептала дѣвушка.

Она наклонила голову и, полузакрывъ глаза, казалось, вся замерла, вся превратилась въ слухъ, чтобы не проронить ни одного произносимаго мною слова.

— Я все боюсь, какъ бы въ словахъ моихъ вы не нашли чего-нибудь для себя обиднаго,—продолжалъ я.—Вѣдь я ничего не хотѣлъ вамъ говорить, я, повѣрьте мнѣ, боролся, долго боролся... Господи! чего только я ни дѣлалъ, чтобы не думать о васъ! Книгъ накупилъ, хотѣлъ читать; по знакомымъ въ гости сталъ ходить, въ театръ каждый вечеръ ѣздилъ... думалъ даже совсѣмъ уѣхать изъ Москвы!

— Куда?

— Ахъ, не все ли равно куда? Въ деревню, въ Петербургъ, за границу,—лишь бы не мучаться, не думать все о васъ.

На блѣдныхъ щекахъ дѣвушки проступилъ румянецъ. Она продолжала ловить каждый звукъ моей рѣчи, едва замѣтно кивая головой, какъ бы мысленно произнося: «Такъ, такъ; говори еще: мнѣ хорошо тебя слушать».

— Да что же мнѣ вамъ еще говорить,—заключилъ я свои слова и всталъ.—Вы сами все видите, все чувствуете. Вы не можете не знать, что я васъ полюбилъ. Да, Матреша, я васъ полюбилъ такъ,

какъ и не помышлялъ, что можно любить кого-нибудь на свѣтѣ. Я думалъ, что такія чувства описываются только въ книжкахъ, въ романахъ, а вотъ приходится самому пережить, перестрадать.—

Матреша какъ будто только и ожидала этихъ послѣднихъ словъ. Она также встала, близко подошла ко мнѣ, положила мнѣ руки на оба плеча и, не сводя съ меня глазъ, въ которыхъ одновременно свѣтились и ласка, и радость, и ничѣмъ непоколебимая рѣшимость, сказала:

— Вотъ, милый мой, оттого, что вы такъ меня полюбили... (она сдѣлала удареніе на словѣ «такъ») мнѣ и нельзя дольше оставаться здѣсь, я и должна сейчасъ уходить. Вы правду сказали: я вѣдь поняла... я еще три дня тому назадъ, когда вы за мной на улицу вышли, все поняла, все почувствовала, что̀ у васъ на душѣ, потому что еще раньше того и сама васъ полюбила. Сегодня, когда вы оставили меня одну въ церкви и потомъ я побѣжала за вами къ воротамъ, мнѣ даже пришло на мысль: останусь въ Москвѣ, отдамся я этому человѣку, извѣдаю въ первый и въ послѣдній разъ въ жизни земное, грѣховное счастье, а потомъ уйду—и ужъ навсегда! Только вижу я теперь, что этому не бывать... Не такой вы человѣкъ! вы слишкомъ молодой, слишкомъ еще привязчивый... Вы не помиритесь на этомъ, вы погонитесь за мной, куда бы я ни пошла, и будете и меня, а пуще всего себя самого мучать. Лучше, стало быть, разомъ покончить, чтобы не томить ни себя, ни васъ. Съ меня, бродяжки, и той радости.

что дали вы мнѣ сейчасъ, говоря про вашу ко мнѣ любовь, довольно—по гробъ довольно! А у васъ вся жизнь впереди... стало быть, нужно намъ разстаться, стало быть, мнѣ уходить нужно... Прощайте.

— Матреша!—воскликнулъ я,—зачѣмъ же уходить? зачѣмъ разставаться? зачѣмъ: прощайте? только согласитесь—и я возьму васъ въ охабку, увезу за тридевять земель, чтобы никто не зналъ ни гдѣ мы, ни что̀ мы. Будьте моей женой и заживемъ мы такъ счастливо, какъ только въ сказкахъ говорится.

— Что вы, что вы!— отмахнулась дѣвушка,— какая я для васъ жена! да и ни для кого я не жена. Вѣдь говорю же я вамъ, что я бродяжка и больше ничего... Вы, можетъ быть, за это самое и полюбили меня, что я не какъ всѣ, не домашняя; что пристанища у меня нѣтъ. А сдѣлайся я вашей женой— и тотчасъ стану, какъ всѣ, и погасну для васъ и заскучаете вы со мной... Да и я сама: ужъ на что вы для меня милы и дороги—на свѣтѣ у меня нѣтъ никого дороже васъ; а доведись такъ, чтобы я должна была всю жизнь съ вами прожить—не прожила бы! Ушла бы и отъ васъ! Кого Господь разъ на странничество позвалъ, тотъ ужъ въ домѣ не жилецъ. Да знаете ли, что я вамъ скажу: вы не будете на меня гнѣваться?..

— Какой гнѣвъ! теперь мнѣ все равно. Мнѣ жизнь не въ жизнь.

— Ахъ, милый, зачѣмъ такъ говорить: жизнь не въ жизнь. Все перемелется—мука будетъ. Придетъ время, сами скажете Матрешѣ спасибо, что на словѣ васъ не словила, не заковала въ кандалы, не спу-

тала своей любовью. А сказать я вамъ хотѣла вотъ что: по-всему... по всѣмъ поступкамъ вашимъ, по рѣчамъ, даже и по глазамъ, какъ иногда—да и теперь вотъ—вы смотрите на меня... сдается мнѣ...

Она остановилась...

— Говорите же, что вамъ сдается?

— Сдается мнѣ, что вы такой же, какъ я—не домашній; что въ свое время и васъ позоветъ Господь; только вы это не такъ назовете, по-своему какъ-нибудь, иначе; но вѣдь это все равно. Не сказали же вы мнѣ: будь моей женой, останемся въ Москвѣ, будемъ жить, поживать, добра наживать; а вздумали увозить меня за тридевять земель, куда-то вдаль искать счастья. Стало быть, вамъ дома со мною было бы скучно, стало быть, и васъ эта самая даль къ себѣ призываетъ и—ужъ вотъ что еще скажу вамъ, совсѣмъ на послѣдокъ, на прощанье: когда позоветъ Господь—не противьтесь, не бойтесь. Захотите бросить все—и домъ и маменьку вашу, а если случится такъ, что женитесь—и жену и дѣтокъ... не сомнѣвайтесь, не откладывайте со дня на день—бросайте! это только въ мысляхъ кажется страшно; а на дѣлѣ, я знаю, ничего страшнаго нѣтъ... даже хорошо. Только одно знайте напередъ: когда выйдете на этотъ путь, запомните мое слово—съ того самаго дня, какъ душа-то ваша странницей станетъ—не найти ужъ больше, не познать вамъ въ любви счастія, а если и покажется, будто оно вамъ дается, да, упаси Богъ, и вправду кого-нибудь полюбите:—какую-нибудь тамъ дѣвушку, или еще того хуже, замужнюю—выхода другого уже не будетъ: либо ее,

коли возьмете любящую, погубите, либо сами, коли пожалѣете ее, пропадете—не лучше того, какъ я вотъ теперь: полюбила васъ, да и жалѣю, и ухожу. А вѣдь это не легко, это тяжеле смерти!...

Матреша говорила подъ наитіемъ какого-то вдохновенія. Кто бы узналъ въ ней теперь ту робкую дѣвушку, которая въ первый приходъ къ моей матери двухъ словъ сплести не умѣла и только некстати посмѣивалась. Плавно и вольно лилась рѣчь изъ разгорѣвшейся костромъ ея души, и каждое слово она, какъ молотомъ, вбивала и мнѣ въ душу. Только когда подъ конецъ о себѣ заговорила, голосъ ея задрожалъ и сталъ прерываться отъ подавляемаго внутренняго волненія.

Тяжело мнѣ было въ этотъ мигъ. Всѣ надежды моей первой юношеской любви разлетались дымомъ, всѣ мечты объ обладаніи этой дѣвушкой, о счастіи съ ней разбивались въ прахъ, а между тѣмъ я съ напряженнымъ наслажденіемъ ее слушалъ; я всѣмъ существомъ своимъ сознавалъ, что въ словахъ ея звучитъ неотразимая жизненная правда, съ которой нельзя ни спорить, ни бороться, которой возражать нечего. Да я и не возражалъ. И когда Матреша, высказавъ все, что у нея было на сердцѣ, опять подошла ко мнѣ, взяла въ свои захолодѣлыя руки и преклонила къ своему лицу мою голову, поцѣловала меня и произнесла:—«Ну, теперь совсѣмъ прощайте... мнѣ пора уходить, а вы оставайтесь здѣсь: вамъ нужно успокоиться, придти въ себя прежде чѣмъ возвратиться домой»,—я молча, безпрекословно повиновался и не пошелъ вслѣдъ за нею.

Дѣвушка быстро поднялась по тропинкѣ на край оврага и, повернувшись, остановилась. Я видѣлъ, какъ она рукой защитила глаза отъ солнца, чтобы взглянуть назадъ, и мнѣ показалось, что взглядъ ея, только скользнувъ по мнѣ, поднялся и затерялся въ туманной той дали, которая безбрежнымъ просторомъ разстилалась за рѣкой.

И вотъ, такою, какой стояла тогда Матреша въ мгновеніе передъ тѣмъ, чтобы скрыться отъ глазъ моихъ навсегда, на высотѣ пригорка, въ черномъ странническомъ одѣяніи, посреди яркой зелени разросшихся кругомъ кустовъ и травы—вся устремленная куда-то прочь, вся озаренная лучами вешняго солнца и обвѣянная тянувшимъ съ рѣки утреннимъ вѣтеркомъ, игравшимъ ея головной косынкой и полами рясы—такой и запечатлѣлась она въ памяти моей и живетъ въ ней донынѣ. Смиренный и властный, близкій и недоступный, до конца желанный и на вѣки утраченный образъ! Какъ долго потомъ, блуждая по свѣту, при другихъ встрѣчахъ, въ другихъ лицахъ, искалъ я его подобія! Казалось мнѣ порою, что и мерцалъ онъ, какъ бы издалека, въ случайно уловленномъ посреди людской толпы женскомъ взглядѣ, мимоходомъ обмѣненной рѣчи, улыбкѣ... но чѣмъ-то затуманенный, чѣмъ-то заслоненный. Кто знаетъ? можетъ быть, онъ и таится подъ покровомъ житейской лжи, въ глубинѣ сознанія у многихъ русскихъ женщинъ; можетъ быть, завидѣвъ это мерцаніе, стоило только подойти ближе, остановиться и сдернуть обманный покровъ, чтобъ вновь увидать передъ собою этотъ образъ во всей

его крылатой, обольстительной красотѣ. Но даже въ тотъ единственный разъ, много лѣтъ спустя, когда (какъ я вамъ это разскажу подробно въ своемъ мѣстѣ) одинокое существованіе мое озарилось встрѣчею съ другою женщиной, показавшейся мнѣ воплощеніемъ, а можетъ быть и дѣйствительно воплотившей передо мною завѣтную мечту всей моей жизни—я только преклонился передъ этой женщиной и, кинувъ ей въ жертвенный даръ мою истомившуюся въ одиночествѣ душу, прошелъ мимо: мнѣ не дозволилъ остановиться, меня и отъ нея отозвалъ за собою вдаль ревнивый призракъ бродяжки-Матреши, которая на зарѣ моей молодости приманила меня къ себѣ, опалила сердце недоговоренной сказкой любви и пророчески нашептала безпріютную, скитальческую до конца долю.

IV.

Съ оврага надъ Москвой-рѣкой я вернулся домой другимъ человѣкомъ. Меня, спокойно и осѣдло жившаго до того времени юношу, случайно встрѣченная бродяжка взяла за руку, вывела на большую дорогу, указала на развернувшуюся передъ глазами даль и, уходя въ нее, сказала: «Уйдешь и ты за мной въ эту даль, и хорошо тебѣ тамъ будетъ».

Съ тѣхъ поръ Матреша и даль слились въ моемъ сознаніи въ одно представленіе. Затосковавъ дома и стараясь объяснить самому себѣ, а затѣмъ и встревоженной матери причину одолѣвавшей меня тоски, я думалъ про себя—зоветъ Матреша, а ма-

тери говорилъ—даль зоветъ. И такъ могучъ, такъ чарующъ былъ этотъ зовъ, что, не будучи въ силахъ ему противостоять, словно слышался мнѣ въ немъ шопотъ любимой дѣвушки, что звала на свиданіе и обѣщала счастье; я разстался съ матерью, покинулъ Москву и пустился въ странствіе, сначала по Руси, а когда надежда повстрѣчаться гдѣнибудь съ Матрешей была потеряна,—и по всему бѣлому свѣту, уже безъ какой-либо опредѣленной цѣли, исключительно для удовлетворенія все сильнѣе развивавшейся во мнѣ съ годами потребности въ постоянной перемѣнѣ мѣстъ и впечатлѣній.

Такимъ образомъ я постепенно и превратился въ того бродягу, котораго вы знаете и котораго тщетно старались приручить во время моего послѣдняго пребыванія въ Петербургѣ. Я могъ бы закончить на этомъ мой разсказъ; но, разъ взявшись за перо и повѣдавъ вамъ, какъ первая любовь толкнула меня на путь скитальчества, я разохотился и рѣшаюсь записать еще нѣсколько воспоминаній, хотя совершенно отрывочно выхваченныхъ изъ моего прошлаго, но имѣющихъ между собою нѣкоторую внутреннюю связь, какъ разрозненныя главы одной и той же книги. Къ продолженію писанія побуждаетъ меня еще и та мысль, что, говоря о себѣ и о нѣкоторыхъ подробностяхъ моей личной жизни, я тѣмъ самымъ ввожу васъ въ малоизвѣстный и мало кому понятный міръ скитальчества вообще; а въ этомъ мірѣ встрѣчается такъ много своеобразныхъ явленій, что болѣе или менѣе новое его освѣщеніе можетъ для всякаго

стремящагося къ сознательному созерцанію жизни наблюдателя представить нѣкоторую занимательность. Скитальчество обыкновенно понимается въ самомъ узкомъ, одностороннемъ смыслѣ, какъ страсть къ кочеванію съ мѣста на мѣсто, и объясняется оно на первый взглядъ довольно удовлетворительно и просто врожденнымъ въ нѣкоторыхъ людяхъ стремленіемъ куда-то вдаль.

Даль! — Какое это въ самомъ дѣлѣ простое и краткое слово! Въ немъ слышится лишь односложный, мгновенно возникающій и столь же мгновенно замирающій звукъ; но какъ много этотъ звукъ можетъ открыть новаго и неожиданнаго, если пристальнѣе вдуматься въ его смыслъ.

Когда въ солнечный день съ господствующаго надъ окрестностью возвышенія свободный взоръ обнимаетъ покоющіеся передъ нимъ холмы и равнины, все расширяющіяся и въ то же время затуманивающіяся пространства, конецъ которыхъ сливается съ началомъ неба; или когда въ ясную ночь поднимешь глаза отъ земли къ звѣздамъ, и онѣ— крупныя и мелкія, яркія и блѣдныя, одинокія и сбѣжавшіяся въ толпы созвѣздій и млечныхъ туманностей, призывно мерцаютъ въ постигаемой лишь воображеніемъ высотѣ —это даль.

Когда, настрадавшись собственнымъ горемъ, или зрѣлищемъ бьющихъ въ глаза и стонущихъ кругомъ общечеловѣческихъ бѣдствій, взываешь въ исканіи исцѣленія и помощи къ небесамъ, или уносишься мыслію отъ несомнѣннаго настоящаго къ гадательному будущему, созидая его по прихоти

своевольнаго воображенія,—то недосягаемое небо и тѣ призрачныя картины грядущаго благополучія на землѣ, тотъ заоблачный и тотъ земной рай, которые рисуются порою передъ взоромъ вѣрующей и вдохновенной мечты—это тоже даль.

Когда бродишь по останкамъ сѣдой старины, посреди стѣнъ, лѣстницъ и камней когда-то роскошныхъ и величественныхъ зданій, дыханіемъ вѣковъ превращенныхъ въ развалины; когда взоръ, блуждая по этимъ развалинамъ, останавливается на обломкѣ разбитаго идола, на обрывкѣ надписи, начертанной непонятными письменами невѣдомо кѣмъ, невѣдомо когда, и мысль, подъ обаяніемъ павшихъ святынь и разрушеннаго величія, уходитъ во времена стародавнія, воскрешая ихъ смолкшую жизнь—тѣ видѣнія усопшихъ тысячелѣтій, тѣ божества, царства, народы и ихъ созданія, что встаютъ и проходятъ вереницею передъ мысленнымъ взоромъ, свидѣтельствуя о тлѣнности всего земного и тѣмъ самымъ въ свою очередь превращая въ развалины и вѣру, и мечты, и надежду на лучшее будущее—это тоже даль.

Когда воспринимаешь впечатлѣнія отъ произведеній искусства, будь то картина, писанная красками на полотнѣ, или воплощенная въ образахъ художественной рѣчи, или мерцающая въ сочетаніяхъ и переливахъ музыкальныхъ звуковъ—тотъ безымянный міръ, куда такъ страстно и, увы! такъ тщетно просится душа, на взоръ съ поволокою и усмѣшкой леонардовской Джоконды, на стонъ байроновскаго Манфреда, на призывъ вагнеровской

Изольды, и это даль, — даль неизмѣримая ни пространствомъ, ни временемъ, но тѣмъ болѣе заманчивая, чѣмъ она загадочнѣе и неизъяснимѣе.

А то, что порою раскрывается и свѣтитъ въ выраженіи живого человѣческаго лица, въ очертаніяхъ дорогого образа, въ откровеніяхъ и тайнахъ любимаго и любящаго взора! Развѣ это тоже не даль? — даль наиболѣе загадочная и наиболѣе желанная, стремленіе къ которой тѣмъ неодолимѣе, чѣмъ невозможнѣе ея достиженіе.

Быть можетъ, счастливъ тотъ, кто, созерцая эти дали, не стремится къ мерцающему сквозь ихъ туманъ царству сказки, кто, спокойно любуясь на мимолетные призраки, не повинуется ихъ чародѣйственнымъ призывамъ и твердо стоитъ на мѣстѣ, гдѣ поставила его судьба.

Но спросите любого скитальца: промѣнялъ бы онъ зной и холодъ своего душевнаго и тѣлеснаго блужданія на тихую, прохладную пристань такого счастья? — онъ, подобно мнѣ, поставившему себѣ этотъ вопросъ передъ отъѣздомъ отъ васъ изъ Петербурга, непремѣнно отвѣтитъ: нѣтъ! Исканіе чего-то родного и незабвеннаго, затеряннаго гдѣ-то въ безмѣрныхъ и безграничныхъ даляхъ пространства и времени, чего-то только изрѣдка и отчасти просвѣчивающаго въ безуміи вѣры, въ бредѣ творчества и опьяненіи любви — вотъ въ чемъ заключается истинный смыслъ скитальчества. Оно обольстительно, потому что непрестанно сулитъ близкое, почти уже ощутимое блаженство достиженія и обладанія; оно неисцѣлимо, потому что достиженія не

только нѣтъ, но и не можетъ быть никогда, и изъ того, что вы прочтете дальше, вы увидите (конечно въ самыхъ общихъ и, повторяю, отрывочныхъ чертахъ), какъ и передо мною раскрывались всѣ эти дали, какъ довѣрчиво я устремлялся на ихъ зовъ, какъ были безплодны мои всѣ исканія и порывы и какъ, въ концѣ концовъ, я всетаки отъ моего прошлаго не отрекаюсь и ни въ чемъ не раскаиваюсь.

Если бы предстояло мнѣ начинать жизнь сызнова, я, по всей вѣроятности, добровольно избралъ бы себѣ тотъ же удѣлъ.

V.

Когда Матреша меня покинула, пребываніе дома, подъ родительскимъ кровомъ—и въ Москвѣ, и въ деревнѣ—стало сначала скучнымъ, темнымъ и тяжелымъ, а потомъ сдѣлалось и совсѣмъ невыносимымъ. День и ночь носился я съ одной мыслію, съ однимъ желаніемъ: освободиться, бѣжать! Но порвать связи съ прошлымъ, сбросить съ себя узы прочно установившейся осѣдлой жизни, завоевать свободу было не легко. Наиболѣе трудноодолимымъ къ тому препятствіемъ являлись, конечно, отношенія мои къ матери. На мнѣ, какъ на единственномъ сынѣ, въ особенности послѣ смерти отца, сосредоточились всѣ ея помыслы и заботы, вся ея любовь; а любить она умѣла такъ, какъ любили только въ доброе старое время матери-затворницы, ничего для себя не искавшія внѣ дома и семьи, неизбалованныя судьбой и не слишкомъ счастливыя въ замужествѣ—матери, для которыхъ въ ихъ

дорогомъ дѣтищѣ воплощался весь смыслъ жизни, со всѣми ея цѣлями, надеждами, печалями и радостями. Самые тревожные, самые страдные годы взращиванія и воспитанія были благополучно пройдены; наступала для матери моей пора, когда она въ правѣ была ожидать успокоенія, утѣшенія, награды. Я это сознавалъ; да и во мнѣ самомъ чувство сыновней привязанности было такъ горячо и сильно, что въ сравненіи съ нимъ все остальное казалось до того времени мелкимъ и ничтожнымъ. И вдругъ, нежданно-негаданно, что-то новое, невѣдомое, но безконечно-желанное явилось и встало между матерью и мною. Говорю «что-то», а не «кто-то», потому что въ сущности не Матреша явилась моею съ матерью разлучницей, а отторгло насъ другъ отъ друга именно то, до времени таившееся во мнѣ, стремленіе къ свободѣ и скитальчеству, которое дѣвушка только прозорливо во мнѣ подмѣтила и вызвала къ жизни. Будь это не такъ, я при установившейся съ дѣтства между мною и матерью полной откровенности, тотчасъ же и легко признался бы ей въ моемъ чувствѣ къ Матрешѣ и раздѣлилъ съ матерью первое постигшее меня сердечное горе. Она либо потужила бы вмѣстѣ со мною, либо добродушно посмѣялась: «все это, молъ, одно ребячество и больше ничего». И зажили бы мы съ ней попрежнему. Но могъ ли я остановиться на полупризнаніи? могъ ли я не договорить, что въ душѣ моей возникъ неодолимый соблазнъ, что дома, при прежнихъ условіяхъ, я долѣе оставаться не въ силахъ — словомъ, что предстоитъ не только временная разлука, но (я тогда уже ясно это со-

знавалъ) полная перемѣна жизни и нашихъ съ матерью взаимныхъ отношеній! Конечно, послѣ первой разлуки я вернусь домой, часто и подолгу буду жить съ матерью подъ одною крышею; но все это уже будетъ не то, что прежде; мечта о счастливомъ, спокойномъ неразрывномъ единеніи должна была навсегда рушиться; спаять звенья оборвавшейся цѣпи было уже нельзя; а что же для матери могло быть неожиданнѣе, непонятнѣе и обиднѣе такого внутренняго душевнаго разрыва, такой ничѣмъ не оправданной въ ея глазахъ сыновней измѣны?

Тѣмъ не менѣе, послѣ нѣкотораго колебанія, я переступилъ черезъ этотъ первый, преграждавшій мнѣ дорогу, порогъ: я нанесъ самому для меня дорогому на свѣтѣ существу тяжелый, ничѣмъ незаслуженный ударъ—и когда онъ былъ нанесенъ, когда миновала возбужденная имъ буря материнскаго изумленія, гнѣва, отчаянія и мы послѣ наступившаго затѣмъ тревожно-выжидательнаго затишья и самоотверженнаго со стороны матери примиренія' все-таки разлучились—я, сидя въ вагонѣ уносившаго меня изъ Москвы поѣзда, повторилъ и понялъ сказанныя мнѣ Матрешей съ ласково-успокоительной улыбкой слова: «Это только кажется страшнымъ, а на дѣлѣ ничего страшнаго нѣтъ... даже хорошо!»

Но тяжело мнѣ теперь вспоминать объ этомъ чувствѣ и объ этой ласково-успокоительной улыбкѣ; въ нихъ чуется какая-то очень темная и очень себялюбивая и жестокая сторона человѣческой души, и я тороплюсь набросить на нее завѣсу и отойти прочь.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ.

Въ путяхъ.

I.

Первое мое путешествіе по Россіи я предпринялъ съ мечтою повстрѣчаться гдѣ-нибудь съ Матрешей. Она ушла изъ Москвы, не сказавъ въ монастырѣ, вопреки своему обычаю, надолго ли и куда уходитъ. Въ разговорѣ съ матерью дѣвушка, правда, упомянула о Троице-Сергіевской Лаврѣ, о Кіевѣ и Саровѣ; но съ тѣхъ поръ прошло много времени и отыскать Матрешу, не зная, гдѣ именно она находится, было, конечно, почти невозможно. Пускаясь въ путь, я, однако, не сомнѣвался, что ее отыщу. Зачѣмъ? Что могли мы другъ другу еще сказать? Къ чему привела бы наша встрѣча?—я себѣ не отдавалъ яснаго отчета. Я только стремился удовлетворить потребности еще разъ ощутить близость дѣвушки, услышать ея задушевный говоръ, ея дѣтскій смѣшокъ, заглянуть въ загадочно-свѣтящіеся глаза.

Прежде всего, я направился въ Троицкую Лавру; но Матреши тамъ не оказалось. Оттуда я проѣхалъ въ Ярославль, гдѣ подъ вымышленнымъ предлогомъ порученія отъ тетки, отыскалъ купеческую чету Малюгиныхъ, родителей Матреши, съ цѣлью получить отъ нихъ какія-нибудь руководящія свѣдѣнія. Только когда Малюгины мнѣ сообщили, что Матреша уже успѣла побывать у нихъ и простилась, также не сказавъ опредѣленно, куда уходитъ и предупредивъ только, что на этотъ разъ вернется, вѣроятно, не скоро, стали для меня выясняться вся трудность моего предпріятія и возможность ея неудачи; но я не упалъ духомъ. Часы печали еще прерывались болѣе свѣтлыми мгновеніями, когда воскресала надежда и въ воображеніи даже рисовалось, какъ все произойдетъ, когда гдѣ-нибудь въ храмѣ, или на большой дорогѣ, посреди толпы богомольцевъ, я вдругъ узнаю тотъ самый головной платокъ и ту рясу, которыми въ памятное прощальное утро игралъ вѣтерокъ на берегу Москвы-рѣки. Я представлялъ себѣ, какъ подойду къ дѣвушкѣ, какъ она, увидавъ меня, испугается и какъ я буду счастливъ сказать ей: «здравствуйте, Матреша!»—а потомъ разскажу, что ушелъ отъ матери, бросилъ домъ и хочу перемѣнить жизнь. Тогда только, думалось мнѣ, пойметъ Матреша всю безвозвратность моей къ ней любви и не отшатнется уже отъ меня, а повѣритъ мнѣ вполнѣ и опять, положивъ, какъ тогда, руки мнѣ на плечи, скажетъ: «коли такъ—будемъ, какъ братъ и сестра и пойдемъ вмѣстѣ».

Время, однако, шло. Поиски мои и въ Кіевѣ не привели ни къ чему и я уже собрался ѣхать въ Саровъ, когда неожиданная встрѣча заставила меня перемѣнить рѣшеніе, прекратить всѣ дальнѣйшія поиски и направиться совсѣмъ въ другую сторону.

II.

Былъ конецъ августа. Собравшіеся въ Кіевѣ со всѣхъ концовъ Россіи къ Успеньеву дню богомольцы разбредались обратно по домамъ, унося съ собой въ свои тѣсныя, темныя, смрадныя хаты умилительныя и бодрящія впечатлѣнія, которыми озарялись ихъ простыя души при поклоненіи роднымъ святынямъ. Незадолго до моего отъѣзда изъ Кіева я вздумалъ однажды поутру посѣтить недалеко отъ города отстоящую Голосѣевскую пустынь и побрелъ туда пѣшкомъ по дорогѣ, окаймленной въ то время съ обѣихъ сторонъ почти сплошными стѣнами вѣкового дубоваго лѣса. Солнце поднялось уже высоко, и даже въ лѣсной тѣни было жарко. Утомившись, я сѣлъ отдохнуть на лежавшій близъ дороги—бурею, должно быть, или грозой поваленный стволъ дряхлаго дерева. Кругомъ царили безлюдіе и тишина; только кое-гдѣ въ лѣсныхъ верхахъ перекликались птицы, да издалека доносился до меня звонъ кіевскихъ колоколовъ.

Настроеніе мое было совсѣмъ особенное. Я находился тогда весь во власти впечатлѣнія, навѣяннаго на меня міромъ паломничества и странничества, въ которомъ я вращался уже болѣе двухъ мѣсяцевъ. Въ поискахъ за Матрешей, я

старался, гдѣ только было возможно, скидывать съ себя барскій обиходъ и отъ жилья, пищи, распредѣленія дневного времени, до одежды включительно, усвоилъ жизнь и бытъ окружавшей меня среды. Въ этой средѣ были, конечно, темныя стороны; изрѣдка встрѣчались и лицемѣріе, и алчность, и даже преступность; но все это тонуло и исчезало въ чемъ-то другомъ, какъ въ вёдреномъ небѣ исчезаютъ и тонутъ мимолетныя, мелкія облачка и оставалось одно безпредѣльное сіяніе чистоты, правды и вѣры народной, передъ которыми должно было покориться и смолкнуть всякое мірское совопросничество, должны были пасть всѣ сомнѣнія. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ тогда казалось. Вѣдь я былъ молодъ и самъ еще могъ не допрашивая вѣрить, не стыдясь молиться, безоглядно и беззавѣтно любить. Теперь, та же среда, вѣроятно, не оказала бы на меня такого вліянія, даже, пожалуй, оттолкнула бы отъ себя, какъ что-то темное, дикое и ставшее мнѣ совершенно чуждымъ; но кто́ знаетъ, когда подходитъ душа ближе къ истинѣ? Тогда ли, когда судитъ жизнь холоднымъ, черствымъ судомъ старческаго опыта, или когда широко раскрываетъ ей довѣрчивыя объятія молодости?

Какъ бы то ни было, но въ тѣ дни я могъ еще проникать душою въ святилище народной вѣры и изъ всего, что я въ этомъ святилищѣ воспринялъ, наибольшее утѣшеніе и радость доставляло мнѣ царившее вокругъ меня и во мнѣ самомъ чувство непосредственной близости Бога, постояннаго Его присутствія и вмѣшательства во всѣ, даже мелкія,

житейскія дѣла и событія. То не былъ мудреный отвлеченный Богъ, перечень свойствъ Котораго я еще въ дѣтствѣ наизусть вызубрилъ изъ катехизиса; то не былъ и древній библейскій Богъ Израилевъ, недоступный обитатель гремящаго Синая, грозный Судія, карающій смертью за каждый грѣхъ, за каждое непослушаніе. То былъ любвеобильный, всѣмъ доступный, создавшій себѣ обитель въ людскихъ сердцахъ Господь, заботливо помогавшій людямъ преодолѣвать трудности, отстранявшій бѣды и напасти, ограждавшій отъ искушеній. Онъ, и наказуя, оставался милосердъ, направляя грѣшниковъ къ покаянію и добру; Онъ преклонялъ внимательное ухо ко всѣмъ молитвамъ, Онъ благотворилъ, Онъ творилъ чудеса, и разсказы объ этихъ чудесахъ служили неистощимымъ предметомъ обмѣна мыслей, чувствъ и толковъ между странниками и богомольцами. При этомъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ никто никого не обманывалъ, никто не сомнѣвался, не изумлялся; чудеса творились и воспринимались такъ же просто и естественно, какъ естественно и просто свѣтитъ и грѣетъ солнце, вѣетъ и сушитъ вѣтеръ, бьетъ изъ земли и утоляетъ жажду придорожный студенецъ. Подъ постояннымъ и непосредственнымъ Божіимъ водительствомъ, безсознательно, но почти въ полной мѣрѣ, осуществлялась среди людей та мечта о свободѣ, равенствѣ и братствѣ, которая на иныхъ путяхъ всегда и повсюду оказывалась неосуществимой. Никому не препятствовалось жить по-своему. Каждый вѣровалъ, дѣйствовалъ и говорилъ, какъ

кому Богъ на душу положитъ. Среди всѣхъ этихъ сыновъ Божьяго царства были сравнительно сильные духомъ и слабые, ученые и невѣжды, богачи и бѣдняки. Никто не поступался, однако, своею личностью, не отрекался отъ себя, или отъ того, чѣмъ одарила его природа и судьба. Для общаго мира и согласія этого и не требовалось вовсе: близость Бога всѣхъ объединяла, равняла, успокаивала и научала, какъ жить, какъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ поступать, и никогда потомъ я уже не встрѣчалъ во взаимныхъ отношеніяхъ людей между собою такой полной терпимости, такой искренней благожелательности и такой широкой, какъ бы обязательной, благотворительности, какъ именно въ этихъ многотысячныхъ толпахъ сѣраго, малознающаго и малоимущаго русскаго люда. Не только разумнымъ и праведнымъ казался мнѣ этотъ людъ, но и свободнымъ и счастливымъ — и вотъ, сидя одинъ при дорогѣ и слушая, какъ сливались голоса лѣса съ далекимъ, призывающимъ къ молитвѣ, церковнымъ благовѣстомъ, я погрузился въ размышленіе о всемъ пережитомъ и испытанномъ мною въ послѣднее время и задалъ себѣ вопросъ о моей собственной судьбѣ. Царство Божіе на землѣ раскрылось передо мной—царство, которое, кромѣ своей внутренней обаятельности, въ сознаніи моемъ украшалось еще и тѣмъ, что въ немъ, хотя невидимо для меня, хотя, можетъ быть, и не близко, но въ полномъ со мною духовномъ единеніи жила Матреша и неужели, спрашивалъ я себя, предстоитъ мнѣ опять уйти изъ этого цар-

ства, ставшаго мнѣ понятнымъ, близкимъ и роднымъ? неужели я долженъ его покинуть и вернуться къ прежнему опостылѣвшему существованію? Не права ли была Матреша, когда говорила, что я, какъ и она, не созданъ для этого существованія, что я не домашній? — и развѣ въ самой встрѣчѣ моей съ этой странной и чудной дѣвушкой не виденъ ясно перстъ Божій, указующій мнѣ путь къ счастію и спасенію?

Какая-то лѣсная непуганная птица, спустившись съ ближайшей вѣтки, сѣла на противоположный конецъ дерева, на которомъ я сидѣлъ, и, вертя пестрой головкой, внимательно стала меня разглядывать. Мнѣ почудилось, будто она услыхала и поняла мои мысли и хочетъ мнѣ что-то сказать, что-то возвѣстить. Я притаился въ ожиданіи и, признаюсь, былъ очень раздосадованъ, услыхавъ шаги. Птица тоже къ нимъ прислушалась и, увидавъ приближающихся по дорогѣ двухъ женщинъ, упорхнула въ лѣсъ. Нѣкоторое время я слѣдилъ, какъ, перелетая съ дерева на дерево, она углублялась въ лѣсную чащу; мнѣ казалось, что по удаленіи прохожихъ она опять прилетитъ ко мнѣ; но странницы подошли ближе, поздоровались, перекрестились и сѣли рядомъ со мною, опустивъ къ ногамъ узлы, висѣвшіе у нихъ за плечами.

III.

Я сталъ всматриваться въ ихъ лица. Одна изъ странницъ, сѣвшая ближе ко мнѣ, была женщина уже въ годахъ, почти старуха, высокая, тощая и

блѣдная, съ чертами лица, сохранившими подъ морщинами и худобой, слѣды прежней красоты. Одѣта она была вся въ черномъ и по медленной степенности движеній походила на монахиню. Товарка ея была молодая деревенская бабенка, съ голубыми глазами и просвѣчивающимъ сквозь загаръ здоровымъ румянцемъ на щекахъ.

— Охъ, моченьки моей нѣтъ, сколь знойно!— завздыхала она, распуская концы головного платка и заправляя выбившіяся изъ-подъ него космы густыхъ, свѣтлыхъ волосъ.

Старшая какъ сѣла, такъ и оставалась неподвижной и молчаливой.

— Издалека идете?— обратилъ я къ ней обычный при подобныхъ встрѣчахъ вопросъ.

— Мы ярославскія,—коротко отвѣтила странница.

Что-то кольнуло мнѣ въ сердце.

— Малюгиныхъ купцовъ ярославскихъ знаете?— спросилъ я не безъ нѣкотораго волненія.

— Всѣхъ въ Ярославлѣ знаю,—уклончиво отвѣтила странница.

— И Малюгиныхъ знаете?

— Говорю тебѣ, добрый человѣкъ,—всѣхъ знаю. Вѣкъ въ Ярославлѣ свѣковала. Какъ Малюгиныхъ мнѣ не знать... хлѣбомъ торгуютъ.

— Стало быть и дочку ихъ, Матрешу, тоже знаете?

Странница вскинула на меня глаза, посмотрѣла въ лицо, потомъ на руки.

— А сами-то вы тоже ярославскіе будете?—въ свою очередь, спросила она, подъ мужицкой одеждой, очевидно, разглядѣвъ барина и переходя тотчасъ же въ разговорѣ со мною съ «ты» на «вы».

Не находя нужнымъ скрывать своего званія, я,—не назвавъ, однако, себя и опуская, конечно, всѣ подробности моихъ отношеній къ Матрешѣ,—сказалъ, откуда пріѣхалъ теперь въ Кіевъ и при какихъ обстоятельствахъ съ Матрешей познакомился; при этомъ, въ объясненіе моего вопроса о дѣвушкѣ, я повторилъ тотъ же, какъ и въ Ярославлѣ, вымыселъ, будто игуменья стосковалась по Матрешѣ и просила меня, если я гдѣ-нибудь ее встрѣчу, посылать обратно въ Москву.

Странница, опершись обѣими руками на толстый дорожный посохъ и низко опустивъ голову, внимательно меня слушала. Когда я умолкъ, едва замѣтная усмѣшка скользнула по ея тонкимъ губамъ; она еще разъ пристально, испытующе посмотрѣла мнѣ прямо въ глаза и, вздохнувъ, произнесла:

— Не пойдетъ теперь Матреша въ Москву; такъ и скажите матушкѣ-игуменьѣ: не ждала бы она Матрешу; Матреша въ Москву больше не придетъ.

— Она здѣсь?... въ Кіевѣ?—не удержался я отъ радостнаго восклицанія.

Загадочная собесѣдница моя опять усмѣхнулась и отрицательно помотала головой.

— Нѣтъ, въ Кіевѣ ея больше нѣтъ... была недавно, а теперь ушла.

— Но вы знаете, гдѣ она?

— Можетъ и знаю, только...

Странница остановилась и послѣ нѣкотораго молчанья, въ продолженіе котораго я не сводилъ съ нея вопросительнаго взгляда, спокойно обратилась къ своей товаркѣ:

— Встань-ка, Аленушка, да пройди по дорогѣ впередъ; тамъ на травкѣ гдѣ-нибудь посиди, не то прилягъ; я къ тебѣ подойду; намъ съ бариномъ нужно о своихъ дѣлахъ потолковать.

Оглядѣвъ меня съ головы до ногъ, Аленушка безпрекословно повиновалась, подвязала платокъ, подобрала узелъ и пошла, а собесѣдница моя все съ тою же медлительностью переждала нѣсколько мгновеній и, проводивъ глазами Аленушку, обернулась ко мнѣ.

— Вы, должно быть, будете господинъ Погостовъ? По имени и отчеству—Степанъ Михайловичъ?—проговорила она; и когда, пораженный ея освѣдомленностью, я отвѣтилъ утвердительно, добавила:—Вотъ, я такъ и догадалась. Очень пріятно познакомиться; а меня, хотя я и не монахиня, добрые люди матерью Анной зовутъ... Можетъ, тоже обо мнѣ отъ кого-нибудь слыхали?

— Вы Матрешу въ Оптину пустынь водили,—вспомнилъ я.

— Вотъ, вотъ—я самая и есть,—какъ-то повеселѣвъ и переставъ меня чуждаться, заговорила странница.—Какъ подумаешь: какія Господь чудеса-то творитъ! вотъ въ какомъ мѣстѣ—въ лѣсу, на большой дорогѣ, насъ съ вами свелъ. Поистинѣ чудо! Мы съ Матрешей, какъ прощались, еще намедни о васъ говорили. Вѣдь я ее, голубушку, вотъ съ какихъ лѣтъ знаю (мать Анна протянула руку), я ей въ жизни замѣсто второй матери, даже, можетъ статься, по духу-то роднѣе матери довожусь. Отъ меня у нея ничего сокровеннаго нѣтъ...

И, наклонившись ко мнѣ, она пониженнымъ голосомъ, почти шопотомъ договорила:

— Матреша мнѣ и про васъ еще допрежъ того много разсказывала: и какъ вы познакомились, и какъ она къ вамъ въ домъ ходила, и какъ потомъ отъ васъ ушла—все, все какъ есть, доподлинно я знаю. Ужъ и бранила же я Матрешу за васъ! охъ, какъ бранила!

— За что же вы Матрешу-то бранили?

— А бранила я ее, батюшка, за то, зачѣмъ волю себѣ дала, и потомъ зачѣмъ съ вами прощаться ходила и наговорила всякихъ ненужныхъ словъ. Только на всѣ мои рѣчи она одно твердитъ: не кори ты меня, мать Анна, за мою грѣшную любовь. Коли бы ты его повстрѣчала, увидала бы сама, какой онъ человѣкъ и за что я его полюбила; а я-то ей: и видѣть не хочу его, окаяннаго!— Вы ужъ простите меня, такъ окаяннымъ васъ и обозвала. Очень ужъ жалко мнѣ ее стало, когда увидала теперь въ Кіевѣ: извелась вся, похудала,— въ чемъ душа! Отъ насъ отставать не хочетъ, ко всѣмъ службамъ ходитъ, молится; а у самой, видимо, не молитва на душѣ. Вотъ и говорю я ей на прощанье: смутилъ онъ, окаянный, твою чистую дѣвичью душу, а самъ, небось, теперь ужъ другую кралю на Москвѣ отыскалъ и по тебѣ не тужитъ.

— Какъ же вамъ не грѣхъ было, мать Анна, сказать про меня такую неправду!—горячо вступился я за себя.

— Неправду говорила, родной мой, неправду,— не смутившись согласилась странница,—и по всему,

что̀ слышала про васъ отъ Матреши, знала, что неправду говорю; да думала, что и ложь во спасеніе иногда бываетъ. Только потомъ ужъ и не рада была: поблѣднѣла моя Матреша, что полотно.—Ну и пусть!—говоритъ,—не вѣкъ же ему меня одну любить и обо мнѣ помнить; его и не такія, какъ я, полюбятъ. Дай Богъ ему въ жизни счастья.—Говоритъ это она такъ, а сама, вижу я, вся трясется, словно какъ въ лихорадкѣ и слезы изъ глазъ въ три ручья по щекамъ такъ сами и катятся...

— Да скажите же вы мнѣ, наконецъ, гдѣ Матреша? Я хочу ее видѣть!—внѣ себя воскликнулъ я, не въ силахъ долѣе выслушивать, что мать Анна съ такою безсознательною жестокостью мнѣ разсказывала про Матрешу.

Лицо матери Анны приняло внезапно холодное, сухое, строгое выраженіе.

— А для чего, сударь мой, вамъ вдругъ понадобилось ее видѣть?—спросила она.

— Если вы мнѣ не скажете, я все равно Матрешу самъ отыщу,—съ раздраженіемъ отозвался я, вставая и принимаясь шагать взадъ и впередъ по дорогѣ.

Мать Анна неодобрительно посмотрѣла на меня.

— Не ищите—не найдете; Матреша—Божья душа... Богъ этого не попуститъ,—съ приведшей меня въ отчаянье увѣренностью произнесла она и, какъ бы выжидая, какое дѣйствіе произведутъ на меня ея слова, опять опустила голову и концомъ посоха стала чертить кресты на пескѣ дороги.

— Богъ этого не попуститъ!—отозвалось въ моемъ сердцѣ.—Да развѣ въ желаніи моемъ видѣть

Матрешу было что-нибудь предосудительное? что-нибудь грѣховное? развѣ я искалъ ее съ какою-нибудь дурною мыслью? съ цѣлью совратить съ праваго пути, увлечь, обольстить?

Кровь бросилась мнѣ въ лицо при одной мысли о возможности подобнаго подозрѣнія, и я съ жаромъ, убѣдительно заговорилъ, стараясь доказать матери Аннѣ всю ошибочность ея опасеній и всю чистоту моихъ намѣреній.

— Повѣрьте мнѣ,—заключилъ я свои слова,—съ того самаго дня, какъ мы простились съ Матрешей, она стала для меня святыней, и будь я проклятъ, если, увидавъ ее, произнесу хоть единое недостойное ея слово! Но дайте мнѣ ее увидѣть! я хочу только сказать Матрешѣ, что никто другой, а именно она одна поняла мою душу и что, только благодаря ей, я теперь знаю, что мнѣ дѣлать и какъ жить.

— И что же вы знаете? какъ будете жить?— поднимая опять глаза, прервала меня мать Анна.

— Брошу все и пойду странствовать, какъ и она,—рѣшительно произнесъ я; и такъ какъ мать Анна продолжала молчать, добавилъ, садясь опять рядомъ съ нею:—можетъ быть въ монастырь уйду, приму постриженье.

Говоря это, я такъ былъ увѣренъ въ возвышенной искренности моихъ намѣреній и убѣдительной силѣ моихъ словъ, что ни минуты не сомнѣвался въ полномъ ихъ одобреніи со стороны матери Анны и въ томъ, что, умилившись, она тотчасъ же перестанетъ противиться моему желанію увидать Матрешу и укажетъ мнѣ, гдѣ я могу ее найти. Вышло,

однако, совсѣмъ наоборотъ; на лицѣ странницы изобразилось чувство, похожее на жалость къ безумцу или ребенку, который не знаетъ, что мелетъ.

— Ну вотъ, вы сами видите, какже это возможно?—укоризненно сказала она,—какъ мнѣ на душу грѣхъ такой взять, чтобы открыть вамъ, гдѣ теперь находится Матреша? Вы и ей будете говорить то же, что мнѣ говорите. Она повѣритъ, а вѣдь это только вражье навожденье, только одинъ обманъ...

И, не давъ мнѣ времени возразить, мать Анна съ невозмутимымъ спокойствіемъ продолжала:

— Вѣрю, батюшка, что вы такъ теперь и думаете, какъ говорите; да ничего изъ всего этого не сбудется—и хорошаго не было бы ничего, коли бы и сбылось! Безъ ума дѣвушку любитъ, всякую даже власть надъ собой потерялъ, мечется, прости Господи, какъ одержимый, а въ странники, въ монахи идти сбирается. Нечего сказать—хорошъ былъ бы странникъ! хорошъ монахъ! Да благо, коли бы еще задумалъ и молчалъ; а то, вѣдь, нѣтъ! напередъ похвастаться охота: знай молъ, какъ я тебя люблю, изъ-за тебя и Богу отдаюсь, и рясу надѣваю... поистинѣ, искушеніе одно и больше ничего.

Объясненіе, которое мать Анна съ такою откровенной простотой и увѣренностью дала моимъ словамъ, до такой степени было для меня неожиданно, что я совсѣмъ растерялся, а мать Анна, не повышая голоса, все съ тою же участливою ко мнѣ жалостью продолжала обличать мой самообманъ, мое самоувѣренное безуміе, и я, глядя какъ прони-

цательно свѣтились устремленные на меня ея глаза, испытывалъ странное, почти страшное чувство полнаго обнаженія души, будто чья-то властная рука постепенно совлекала съ нея всѣ покровы и, обнажая самыя сокровенныя ея тайны, меня же и призывала стать собственнымъ своимъ судьей. Странница говорила долго. Я не былъ бы въ состояніи теперь повторить всѣхъ ея словъ; помню только, что они производили на меня такое впечатлѣніе, какъ будто произносила ихъ вовсе не эта, сидящая рядомъ со мной, простая, скромная женщина, а что устами ея говорилъ со мною какой-то безличный, но тѣмъ болѣе убѣдительный голосъ, которому мало-по-малу покоряясь, я внималъ какъ голосу самаго Бога. Когда мать Анна умолкла, я могъ только совершенно безвольно спросить: что же мнѣ теперь дѣлать?

— Не мнѣ учить другихъ Божьимъ путямъ,— смиренно произнесла она—сама въ грѣхѣ родилась и въ грѣхахъ пребываю; а вы больше, да усерднѣе молитесь; Богъ научитъ, что дѣлать. Одно вѣдаю я доподлинно и Матрешѣ то же самое говорю: не подобаетъ вамъ съ нею больше видѣться; перестаньте ее искать, не то и ее, и себя погубите. Теперь, какъ я васъ узнала, вижу, что дурного въ мысляхъ вы точно какъ бы и въ самомъ дѣлѣ не держите; да горе-то наше людское въ томъ и есть, что человѣкъ самъ себѣ не хозяинъ: хочетъ поступать по-хорошему, анъ, гляди, на дѣлѣ совсѣмъ другое выходитъ; врагъ-то сильнѣе насъ съ вами... Правду я говорю?

— Правду—отозвался я.

— Ну, вотъ, видите,—радостно подхватила мать Анна—сами соглашаетесь, что я говорю правду. И Матреша тоже со мной согласна; даже передъ образомъ побожилась мнѣ, что, коли гдѣ и встрѣтится съ вами, одно вамъ только скажетъ—чтобы вы отъ нея уходили и позабыли ее навсегда. Если вы душу въ ней Божью любите, а не грѣховную плоть, къ чему вамъ съ нею видѣться? она за васъ молится, вы молитесь за нее; съ васъ обоихъ этого и довольно.

Мать Анна все пристальнѣе смотрѣла мнѣ въ глаза; ея взоръ, ея слова, ея воля все глубже проникали мнѣ въ душу и, должно быть, увидавъ, что послѣдніе слѣды сопротивленія и колебанія во мнѣ разсѣиваются, странница положила костлявую руку на мою руку и уже не сурово, а ласково обращаясь ко мнѣ, какъ мать къ сыну, добавила:

— Недаромъ Господь чудомъ свелъ насъ здѣсь съ тобой; въ немощи силы Божіи совершаются. Можетъ, наша съ тобой встрѣча будетъ и тебѣ, и Матрешѣ во спасеніе. Обѣщай же мнѣ и ты, что не станешь больше искать Матрешу; да и въ монастырь не иди: не такое это дѣло, чтобы, очертя голову, безъ Божьяго благословенія его начинать.

И послѣ нѣкотораго молчанія, мать Анна спросила:

— Ну, какъ же родной? какое будетъ твое рѣшеніе? обѣщаешь, что ли?

Матреша съ ней согласна, Матреша тоже не хочетъ меня видѣть, стало быть, такъ тому и быть—

прозвучало у меня въ мысляхъ и почти безсознательно я произнесъ: обѣщаю.

Странница облегченно вздохнула, перекрестилась и встала.

— Ну, дай же мнѣ тебя благословить на подвигъ и дорогу,—обратилась она ко мнѣ, вынимая изъ-за пазухи маленькій образокъ, — знаю, что не легко тебѣ побороть будетъ это самое искушеніе; вотъ, и надѣнь на себя ликъ Царицы Небесной и носи его въ память даннаго тобою мнѣ обѣта; коли его исполнишь — она, Матушка, тебя укрѣпитъ и утѣшитъ, а коли преступишь—обличитъ предъ твоею же совѣстью. Да этого, я знаю, не будетъ.

Я снялъ шапку и наклонилъ голову. Мать Анна, сосредоточенно насупивъ брови и шепча про себя молитву, трижды крестообразно осѣнила меня образомъ, крѣпко прижимая его мнѣ ко лбу, къ плечамъ и груди; потомъ, сама приложившись, дала приложиться мнѣ—и растроганные до глубины души, со слезами на глазахъ, о чемъ-то горюя и въ то же время чему-то радуясь, разстались мы съ матерью Анной, чтобы никогда болѣе не встрѣтиться на жизненномъ пути.

Въ Кіевѣ долѣе мнѣ оставаться было незачѣмъ.

Я собирался уѣзжать... но куда? Мысль о немедленномъ возвращеніи домой въ Москву мнѣ и въ голову не приходила; я направился въ совершенно противоположную отъ Москвы сторону и очутился въ Крыму.

Лучезарная даль и сновидѣніе моей первой любви, вмѣстѣ съ дѣтски-упрямымъ стремленіемъ уловить и удержать ея отлетающій призракъ, отошли въ

область воспоминаній о чемъ-то окончательно и навсегда пережитомъ—и въ туманныхъ просторахъ впервые развернувшагося предо мною невѣдомаго моря и невѣдомаго будущаго, мало-по-малу, стали брежжить и раскрываться другіе сны и другія дали.

IV.

Чтобы покончить вполнѣ съ воспоминаніемъ объ этой порѣ моей жизни я добавлю еще только нѣсколько словъ о тогдашнемъ пребываніи моемъ въ Крыму.

Ища разсѣянія и новыхъ впечатлѣній, я сталъ объѣзжать и довольно подробно осматривать крымскія достопримѣчательности; памятники историческаго прошлаго впервые стали тогда привлекать и останавливать на себѣ мое вниманіе. Помню, какимъ чувствомъ благоговѣнія проникся я, когда старослуживый изъ раненыхъ севастопольскихъ героевъ повелъ меня на Малаховъ курганъ и показалъ каморку въ бастіонѣ, гдѣ жили Истоминъ и Нахимовъ, мѣста, гдѣ они были потомъ убиты и въ нѣсколькихъ шагахъ далѣе траншею, откуда французы кинулись на послѣдній приступъ. Помню также, какъ въ Гурзуфѣ, сидя подъ платаномъ Пушкина и прислушиваясь къ шелесту листьевъ, я въ воображеніи воскрешалъ образъ поэта и чувствовалъ себя счастливымъ быть на тѣхъ самыхъ мѣстахъ и видѣть передъ собою тѣ самые склоны «приморскихъ горъ» и «Таврическія волны», которыми онъ когда-то вдохновлялся. Но еще гораздо

болѣе сильное и глубокое впечатлѣніе, чѣмъ эти свѣжіе слѣды недавняго прошлаго, произвели на меня остатки Херсонеса и въ особенности Исара— затерянной въ лѣсу въ горахъ, около водопада Учанъ-Су, ничѣмъ не замѣчательной, но очень древней византійской крѣпостцы, съ полуразвалившимися стѣнами и площадкой, на которой, когда я на нее вскарабкался, мирно паслась забредшая откуда-то коза. Именно загадочность и безымянность этихъ уцѣлѣвшихъ свидѣтелей сѣдой древности, мнѣ особенно были милы и въ близости ихъ я ощутилъ на себѣ то самое таинственное дыханіе вѣковъ, которое потомъ, много лѣтъ спустя, когда я попалъ въ Римъ, побѣдной волной охватило меня посреди развалинъ Форума и Палатина. Въ этомъ дыханіи я уже и тогда, въ Крыму, почуялъ будущій призывъ какой-то иной, еще не раскрывшейся передъ глазами дали; но для того, чтобъ устремиться въ нее, время еще не пришло. Слишкомъ горячо кипѣла во мнѣ молодость, слишкомъ ярко зеленѣли кругомъ горныя прибрежья и трепетало въ лучахъ солнца море, чтобы я могъ внимательно прислушиваться къ чему-нибудь другому, кромѣ голосовъ торжествующей вокругъ меня и во мнѣ самомъ жизни.

Не успѣлъ я сойти съ развалины Исара, какъ эта жизнь, словно лѣснымъ душистымъ ландышемъ, кинула въ меня мимолетнымъ, но проникшимъ въ глубь сердца впечатлѣніемъ. Оно доказало мнѣ, что жизнь для меня не только не кончена, какъ я это себѣ вообразилъ, когда рѣшился не искать болѣе

Матреши, но лишь начинается—и что послѣ вешнихъ грозъ еще ослѣпительнѣе свѣтитъ солнце, еще радостнѣе играетъ, орошенная дождемъ, зелень деревъ и травъ, еще слаще благоухаютъ цвѣты.

Надъ отвѣснымъ обрывомъ у подножія Исара я увидалъ приткнувшуюся къ стѣнѣ, одѣтую въ рубище, сидящую со свѣшанными въ пропасть босыми ногами дѣвушку-подростка. Она пристально большими, черными, южными глазами смотрѣла въ зеленѣвшее подъ нею ущелье и отъ времени до времени концомъ повязанной на шеѣ красной косынки утирала катившіяся по смуглымъ щекамъ слезы. Какъ она пробралась на то мѣсто, гдѣ сидѣла и какъ могла бы съ него сойти—я не понималъ. Дрожь пробѣгала по моимъ членамъ при мысли, что дѣвушка, вотъ-вотъ, сейчасъ двинется, сорвется и упадетъ; но окликнуть ее я тоже не рѣшался и стоялъ неподвижно въ боязливомъ ожиданіи.

Въ ущельѣ раздался громкій, протяжный свистъ. Дѣвушка мгновенно встрепенулась, ухватилась за что-то руками, уперлась ногой въ едва замѣтное для глаза углубленіе стѣны и спрыгнула куда-то внизъ. Я вскрикнулъ отъ испуга, подбѣжалъ къ самому краю обрыва, взглянулъ въ его глубину и радостно вздохнулъ, увидавъ, что дѣвушка не лежитъ тамъ разбитымъ трупомъ, какъ я былъ увѣренъ, а быстро и ловко, подобно горной сернѣ, цѣпляясь за камни и кусты, продолжаетъ спускаться ко дну обрыва. На нѣсколько мгновеній она ис-

чезла за уступомъ скалы; а потомъ я опять увидалъ на склонѣ противоположнаго возвышенія, какъ уже вдвоемъ, съ какимъ-то щеголевато одѣтымъ и какъ мнѣ издали показалось молодымъ и красивымъ парнемъ она тихо шла по тропинкѣ въ лѣсъ, а парень, наклонивъ голову къ ея лицу и, должно быть, улыбаясь, выслушивалъ, что̀ она ему горячо и страстно говорила.

На слѣдующій день, въ тотъ же часъ, я вторично пришелъ къ Исару; я думалъ, не увижу ли опять эту дѣвушку? Но мѣсто, гдѣ она сидѣла, было пусто. Я постоялъ около развалины, кинулъ взоръ въ ущелье и на лѣсную тропинку, прислушался... въ сторонѣ только шумѣлъ Учанъ-Су. Убѣдившись, что никого нѣтъ, я понурилъ голову и пошелъ домой; но въ продолженіе всего обратнаго пути до Ялты образъ смуглой дикарки не переставалъ какимъ-то свѣтящимся видѣніемъ появляться, исчезать и вновь вспыхивать въ моемъ воображеніи—и молодого парня, котораго она вчера ждала и къ которому безъ оглядки кинулась, когда онъ ее къ себѣ кликнулъ, я мысленно назвалъ счастливцемъ. Какъ прекрасна, какъ сильна и богата молодость!

Но пора мнѣ наконецъ съ нею окончательно проститься и перекинуть мысль къ другому, гораздо уже позднѣйшему времени моего скитальчества.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ.

На развалинахъ.

I.

Въ началѣ этихъ записокъ, стараясь болѣе или менѣе наглядно выяснить всѣ значенія, въ какихъ можетъ быть понято слово «даль», я, между прочимъ, упомянулъ о тѣхъ призрачныхъ картинахъ чаемаго на землѣ всеобщаго благополучія, о томъ земномъ раѣ, который мерцаетъ порою, какъ достижимое благо, въ воображеніи людей впечатлительныхъ, склонныхъ отъ природы къ смѣлой и довѣрчивой мечтательности и чуткихъ къ страданіямъ человѣчества. Видѣніе это промелькнуло и передо мною; но именно только промелькнуло. О немъ вовсе даже не стоило бы говорить, если бы его вспышка и быстро послѣдовавшее затѣмъ угасаніе, не явились переходнымъ, но тѣмъ не менѣе

необходимымъ звеномъ въ непрерывной цѣпи увлеченій, изъ которыхъ сложилась вся моя жизнь. Какъ не покажется это маловѣроятнымъ и даже неправдоподобнымъ, въ особенности для васъ, знающаго меня, какимъ я сталъ теперь, — но было время, когда мечты о пересозданіи общества и государства на новыхъ началахъ овладѣли мною до такой степени, что я чуть было не сдѣлался заговорщикомъ и бунтовщикомъ. И, вѣроятно, вы удивитесь еще болѣе, когда я скажу, что кромѣ зауряднаго подчиненія господствующему теченію европейской общественной мысли и зауряднаго же недовольства современной, въ особенности русской дѣйствительностью, ближайшимъ поводомъ, непосредственнымъ, такъ сказать, толчкомъ, побудившимъ меня устремиться въ эту даль будущаго, было ознакомленіе мое съ философскими и политическими мыслями и писаніями Рихарда Вагнера. Въ одну изъ моихъ поѣздокъ въ Германію—это было лѣтъ десятъ спустя послѣ тѣхъ событій, о которыхъ я вамъ разсказалъ въ предшествующихъ тетрадяхъ моихъ записокъ—довелось мнѣ услыхать въ Байрейтѣ исполненіе его трилогіи «Кольцо Нибелунга». Ранѣе того я зналъ только «Тангейзера» и «Лоэнгрина» и уже былъ защитникомъ вагнеровской музыки въ спорахъ и разногласіяхъ, дѣлившихъ слушателей на два враждебныхъ лагеря. Трилогія окончательно сдѣлала меня восторженнымъ вагнеристомъ, и мнѣ захотѣлось ближе ознакомиться не только съ музыкальнымъ творчествомъ Вагнера, но и съ его біографіей и литературной дѣятельностью.

Чтеніе его сочиненій произвело на меня глубокое, почти подавляющее впечатлѣніе. Музыка отошла въ моихъ глазахъ на второй планъ; выдвинулась впередъ крупная личность Вагнера, его непреклонная, гордая воля, его ненависть и презрѣніе къ неправдѣ современной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ—въ церкви, въ государствѣ, въ обществѣ и искусствѣ. Неожиданно представшій передо мною образъ этого титана мысли и вдохновенія, озаренный притомъ горячей, фанатической вѣрой въ близость осуществленія мечты о возрожденіи человѣчества на развалинахъ современнаго государства, меня ослѣпилъ. Смѣйтесь надо мной, но въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца я изъ мирнаго, безобиднаго обывателя, любителя путешествій и подписчика на Аксаковскую «Русь» превратился въ революціонера и вернулся въ Москву, давъ клятву всецѣло посвятить всѣ силы и всю дѣятельность на борьбу съ побѣдно царящими въ моемъ отечествѣ зломъ, насиліемъ и неправдой. Какъ вамъ извѣстно, съ такими молодцами правительство тогда не шутило; я зналъ, какой опасности я себя подвергалъ; но меня окрылялъ примѣръ того же Вагнера, принимавшаго личное и дѣятельное участіе въ революціи 48 года и испытавшаго вслѣдствіе этого много гоненій и бѣдствій. Русская подпольная и заграничная запретная литература стали любимымъ моимъ чтеніемъ; я изучилъ исторію французской революціи; сочиненія родоначальниковъ европейскаго соціализма стали для меня священнымъ писаніемъ. Когда же я счелъ себя теоретически достаточно

подготовленнымъ, я сталъ искать сближенія съ людьми и кружками, которые могли бы посвятить меня въ тайны революціонной организаціи, о которой въ Россіи всѣ догадывались и говорили, но которая оставалась до поры до времени неуловимой. Словомъ,—не начнись тогда турецкая война, заставившая на-время замереть внутреннюю смуту и отвлекшая всеобщее вниманіе въ другую сторону, и не пади вскорѣ затѣмъ на Россію ударъ жестокаго, безсмысленнаго и никому ненужнаго цареубійства, повергшаго весь русскій народъ, и меня въ томъ числѣ, въ состояніе продолжительнаго оцѣпенѣнія—я, вѣроятно, далеко ушелъ бы по избранному мною пути и не гулялъ бы теперь на свободѣ, а сидѣлъ бы гдѣ-нибудь въ тюрьмѣ или ссылкѣ.

Издалека чувствую на себѣ вашъ ироническій взглядъ и ожидаю еще болѣе ироническаго вопроса: неужели внѣшнія случайности, хотя бы такой важности, какъ война и событіе 1 марта, могли настолько поколебать мои взгляды и вѣрованія, что изъ убѣжденнаго революціонера я въ самое короткое время превратился въ того Погостова, котораго вы теперь узнали и называете даже человѣкомъ не отъ міра сего? Я долженъ вамъ признаться, что къ этому естественному и почти неизбѣжному вопросу я нарочно васъ подвелъ, съ цѣлью разсказать, какъ именно произошелъ новый и на этотъ разъ уже окончательный переворотъ въ моихъ мысляхъ и моемъ душевномъ настроеніи.

Само собою разумѣется, — не турецкая война и не цареубійство это сдѣлали; они только дали время вторгнуться въ мою жизнь и ударить по мнѣ другимъ впечатлѣніямъ, совершенно иного порядка.

Припомните, какое послѣ 1-го марта наступило время. Раздался повелительный, властный окликъ: «Вставайте—правительство идетъ!»—и всѣ встали. Такъ называемая крамола спряталась и притихла; такъ называемая реакція подняла голову и, послѣ полнаго унынія и растерянности предыдущихъ мѣсяцевъ, почувствовала за собой силу. Люди не той и не другой стороны, — а они всегда и вездѣ составляютъ большинство, — искренно обрадовались исчезновенію краснаго призрака и, облегченно вздохнувъ, сложили руки, закрыли глаза и предались крѣпкому, сладкому сну. Народъ... но зачѣмъ о немъ поминать! — народъ, какъ вездѣ и всегда, безмолвствовалъ и дѣлалъ свое вѣковѣчное дѣло: въ потѣ лица снискивалъ хлѣбъ свой, кормя въ то же время и крамольниковъ, и реакціонеровъ, и нейтральныхъ, и правительство. Да — скучное настало тогда время на Руси. Какой-то захудалый поэтъ попробовалъ было крикнуть: «такъ жить нельзя!» Но не только никто ему не повѣрилъ, но никто даже и не разобралъ хорошенько,—что онъ такое крикнулъ?..

Удрученный, сбитый съ толку, но отнюдь не разочарованный въ истинѣ и правотѣ моихъ политическихъ надеждъ и замысловъ, я ушелъ въ самого себя, прожилъ лѣтніе мѣсяцы безвыѣздно

въ деревнѣ и подъ осень собрался уѣхать въ Италію. По какому-то странному недоразумѣнію, изъѣздивъ вдоль и поперекъ Германію, Францію, даже Англію, я до тѣхъ поръ въ Италіи никогда не былъ. Съ представленіемъ моимъ о ней почему-то связывались сантиментальные вздохи о странѣ апельсиновъ и цвѣтовъ и увлеченія русскихъ дамъ итальянскими тенорами. Неожиданно меня къ Италіи что-то вдругъ потянуло. Я говорилъ себѣ: «Родина Гарибальди, край, такъ недавно еще завоевавшій себѣ единство и свободу... тамъ должно быть хорошо! Поѣду въ Италію, отдохну душой, освѣжусь, ободрюсь и потомъ, вернувшись домой съ обновленными силами, примусь опять за прерванную работу, за святое дѣло освобожденія и обновленія родины».

Въ сущности, какъ мнѣ теперь это совершенно ясно,—я ѣхалъ въ Италію безъ всякой опредѣленной цѣли; я убѣгалъ отъ самого себя и отъ того хаоса мыслей, сомнѣній и противорѣчій, которыя царили въ моей душѣ. Не родина Гарибальди меня манила къ себѣ, а terra incognita, которая — кто ее знаетъ? — можетъ быть и скажетъ мнѣ какое-нибудь новое, животворящее слово.

II.

Покинулъ я Россію въ осенній, темный, дождливый день. Ненастье преслѣдовало меня до Вѣны. Тамъ я только переночевалъ и утромъ отправился дальше по живописному пути черезъ Земмерингъ и дикія высоты Тарвиза. Подъ вечеръ

поѣздъ подошелъ къ пограничной итальянской станціи и послѣ таможеннаго осмотра двинулся далѣе, быстро спускаясь съ горнаго перевала въ широкую равнину Адріатическаго прибрежья. Я сидѣлъ у открытаго окна вагона, съ отрадой вдыхая теплый воздухъ сразу охватившаго меня юга. Что-то совсѣмъ особенное, необыкновенное, какое-то нигдѣ еще мною не встрѣченное сочетаніе первобытной простоты съ красотой неописанной вдругъ развернулось передъ моими глазами. То былъ сплошной какъ бы запущенный садъ, съ безконечно слѣдующими одинъ за другимъ рядами нехоленыхъ фруктовыхъ деревьевъ, перемѣшанныхъ съ дикой зарослью и кустарниками и увѣшанныхъ, перекинутыми между стволами, пышными гирляндами виноградныхъ лозъ. Посреди блѣдной, нѣжной зелени этого сада, то и дѣло, мелькали бѣлыя, гладко укатанныя дороги, бѣлые домики, кое-гдѣ причудливыя очертанія какихъ-то вовсе не печальныхъ и тоже свѣтлыхъ развалинъ; а затѣмъ еще — башеньки и кресты церквей, да стѣнами огражденныя кладбища, съ дремлющею вокругъ никѣмъ неугрожаемыхъ могилъ стражею остроконечныхъ, темныхъ кипарисовъ. И все это вмѣстѣ — и сады, и церкви, и обиталища людей, и мѣста послѣдняго ихъ упокоенія — въ общей беззаботности и лѣни, улыбаясь сквозь сладкую дремоту, красовалось и нѣжилось подъ ласковымъ покровомъ безоблачной лазури. Послѣдніе лучи заходящаго солнца озаряли, оставленную поѣздомъ позади себя, цѣпь горъ. Сначала вся она, съ вер-

нинъ и до подножій, ярко вырисовывалась свѣтлою, волнообразной полосой; потомъ, когда солнце зѣло, съ равнины стала подниматься тѣнь; она постепенно покрыла и горные склоны; однѣ только вершины еще догорали теплымъ розовымъ пламенемъ. Наконецъ, погасли и онѣ. Вагоны освѣтились огнями; но, высунувъ голову изъ окна, я продолжалъ вглядываться въ быстро надвигающуюся на землю ночь и видѣлъ, какъ крупныя южныя звѣзды зажглись и засверкали живыми глазами въ глубинѣ ставшаго вдругъ чернымъ южнаго неба.

— Вотъ она, Италія! — подумалось мнѣ. — Наконецъ-то довелось увидѣть ее не на картинахъ, а въявь... Но зачѣмъ, словно дѣйствительно живое существо, словно женщина какая-то въ живописномъ рубищѣ съ чернымъ платкомъ на плечахъ, она такъ пристально и загадочно смотритъ мнѣ въ лицо, какъ будто хочетъ либо спросить о чемъ-то, либо прошептать какое-то откровеніе? Хороша ты, черноокая красавица! Но что тебѣ отъ меня нужно? Вѣдь я у тебя здѣсь пришелецъ; я принесъ съ собой въ скитальческой душѣ моей, чуждыя для тебя, далекія думы, тревоги и печали. Можешь ли ты ихъ понять, раздѣлить, утѣшить?

А поѣздъ все катился впередъ; подбѣгалъ къ пустыннымъ, скудно освѣщеннымъ станціямъ. Pordenone, Conegliano — читалъ я надписи на убогихъ станціонныхъ зданіяхъ — и случайно припомнились мнѣ эти самыя имена — Cima da Conegliano и

Pardenone, вычитанныя изъ какой-то книжки давно, въ юности, когда я изучалъ исторію итальянскаго искусства. Носители этихъ именъ—художники, ставшіе потомъ извѣстными, должно быть родились и выросли именно тутъ, въ этихъ скромныхъ, молчаливыхъ селеніяхъ, огни которыхъ сонно мигаютъ теперь по сторонамъ пути. Счастливыя, благословенныя мѣста! Счастливыя, благословенныя времена, рождавшія цѣлые сонмы избранниковъ, одарявшихъ міръ сокровищами вдохновеннаго своего творчества! И не одни эти мѣста — вся Италія сплошь усѣяна такими же городами и деревушками, имена которыхъ прославлены рожденными въ нихъ великими художниками. Перуджино, Веронезе, Анжелико да Фіэзоли, Антонелли да Мессина, Моретто да Бресчія... да развѣ можно ихъ всѣхъ перечесть! Почему такіе художники теперь не рождаются? Почему ихъ больше нѣтъ? Не тоскуютъ ли по нимъ эти нынѣ запустѣлые деревушки и города, эта осиротѣлая красавица-природа, это небо и эти звѣзды? И не тѣ же ли вопросы собираются они кинуть мнѣ, когда такъ молча и жутко смотрятъ мнѣ въ глаза, не какъ чуждому пришельцу, а какъ родному сонаслѣднику созданныхъ и завѣщанныхъ ими всему человѣчеству художественныхъ богатствъ?

Я досадовалъ на огни, на движеніе и шумъ поѣзда: они мѣшали мнѣ вслушиваться и всматриваться. Въ таинственной глубинѣ итальянской ночи сердцемъ чуялись все болѣе задушевные, все болѣе призывные шепоты и слова. Развертывав-

шаяся передъ глазами картина становилась все призрачнѣе, все необыкновеннѣе. На небо вышелъ мѣсяцъ. Миновавъ послѣднюю передъ Венеціей станцію, поѣздъ врѣзался, наконецъ, въ водяное ея царство; по обѣимъ сторонамъ желѣзнодорожной насыпи неподвижно сверкающимъ зеркаломъ простерлась водяная гладь; посреди нея, какъ тѣни въ лунномъ сіяніи, тамъ и сямъ проплывали мимо очертанія одиноко торчащихъ изъ воды деревьевъ, дремлющихъ рыбачьихъ лодокъ, бездыханныхъ парусовъ; а дальше, впереди, тамъ, гдѣ море сливалось съ небомъ, уже выступало изъ воды и приближалось ко мнѣ, зыблясь подъ покровомъ полупрозрачнаго тумана, какое-то сновидѣніе. Это сновидѣніе — была Венеція.

И, какъ русалка, сверкающая при лунѣ мраморно-розовымъ тѣломъ своимъ, съ извивающимися по спинѣ, по плечамъ и по груди змѣями волнистыхъ волосъ, предстала она передо мной, по поясъ въ водѣ, во всемъ обаяніи своей чародѣйственно-неувядаемой молодости и прелести. Она поманила меня къ себѣ, она опрокинула станъ, смѣшивая зеленыя волны кудрей своихъ съ серебристою рябью водъ; она съ блаженной улыбкой раскрыла мнѣ объятія,—я кинулся въ нихъ, какъ молодость кидается на призывъ первой, вешней любви—и волшебница увлекла меня съ собою въ свои сказочные чертоги, разсыпала передо мной несмѣтныя сокровища, пѣла любовныя пѣсни, баюкала на волнахъ и, ласкаясь ко мнѣ, говорила: «Позабудь все прошедшее, разлюби, что̀ раньше любилъ,

прежнимъ обѣтамъ и клятвамъ твоимъ — измѣни; люби меня одну...»

И я уже позабывалъ, я уже измѣнялъ, наслаждаясь въ одно и то же время и этимъ забвеніемъ, и болѣзненнымъ сознаніемъ измѣны, и горячими лобзаніями моей новой любовницы. Въ образѣ Италіи, меня позвала къ себѣ, меня заворожила и побѣдила новая даль—свѣтлая, радужная даль вѣчной красоты и вѣчнаго искусства.

III.

Выѣзжая изъ Россіи, я намѣревался удѣлить на поѣздку по Италіи недѣль пять, шесть; этого времени, мнѣ казалось, было совершенно достаточно, чтобы получить объ Италіи довольно ясное понятіе и посѣтить главнѣйшіе и самые любопытные ея города, включая въ то число, конечно, и Римъ.

Съ первыхъ же дней пребыванія въ Венеціи я, однако, убѣдился, что всѣ предварительные расчеты, касательно времени, въ Италіи разлетятся дымомъ по̀ вѣтру. Въ Венеціи я прожилъ мѣсяцъ—медовый мѣсяцъ моего душевнаго сліянія съ итальянскимъ искусствомъ и тѣсно съ нимъ связанной итальянской народной жизнью. Художественное творчество въ ней погасло, но она продолжаетъ двигаться и дышать въ воздухѣ, еще напоенномъ и насквозь пронизанномъ благодатнымъ вѣяніемъ минувшаго расцвѣта этого творчества. Она любуется красотою его созданій, она гордится и хвастается ими, она поетъ старыя пѣсни; а въ

этихъ пѣсняхъ и созданіяхъ, въ свою очередь, отражаются исконныя, вѣками не измѣнившіяся черты народной души и народнаго облика. Въ случайно мелькающихъ передъ глазами на улицѣ взглядахъ и улыбкахъ женщинъ и дѣвушекъ, въ очертаніяхъ и поворотахъ дѣтскихъ головъ, въ лицахъ, осанкѣ и тѣлодвиженіяхъ взрослыхъ людей невольно узнаются черты тѣхъ Мадоннъ, Младенцевъ и Святыхъ, тѣхъ героевъ и героинь историческихъ событій, наконецъ, той толпы, изображеніямъ которыхъ въ краскахъ и мраморахъ мы дивимся и наслаждаемся, созерцая произведенія величайшихъ художниковъ. Разительное сходство, почти тождество внѣшнихъ образовъ въ мірѣ давно отжившаго творческаго вдохновенія и въ современной житейской дѣйствительности возвышаетъ и облагораживаетъ эту дѣйствительность, придавая ей совсѣмъ особое обаяніе. Но и помимо этого, съ итальянцемъ вообще и съ итальянскимъ простолюдиномъ въ особенности я скоро почувствовалъ какую-то внутреннюю близость, какое-то сродство. Существуетъ ли дѣйствительно, кромѣ общеарійскаго происхожденія, какая-нибудь особая, болѣе близкая племенная связь между обитателями сѣверной Италіи и славянами, — не знаю; но что въ итальянскомъ народномъ характерѣ встрѣчается много славянскихъ и даже чисто русскихъ свойствъ и особенностей — это несомнѣнно. То же сочетаніе дѣтской, слѣпой вѣры съ размашистымъ кощунствомъ и откровеннымъ развратомъ, та же добродушная плутоватость, кото-

рой не клади пальцы въ ротъ, но на которую сердиться нѣтъ никакой возможности; та же разносторонняя, неряшливая даровитость, та же способность къ тяжелому, почти сверхчеловѣческому труду изъ-за корки насущнаго хлѣба и та же лѣнь непробудная и беззаботная праздность, когда эта корка хлѣба добыта. Все это, конечно, относится исключительно до народа въ тѣсномъ смыслѣ. Объ итальянской аристократіи, буржуазіи, чиновничествѣ и интеллигенціи я не говорю; съ нѣкоторыми мелкими, мѣстными оттѣнками и отличіями, они уже пріобщились вполнѣ, какъ, впрочемъ, и русскіе общественные слои тѣхъ же наименованій, къ обще-европейскому типу внѣнародной, обезличенной и обезцвѣченной публики, которая хотя и живетъ бокъ-о-бокъ съ народомъ, а въ лицѣ правителей даже господствуетъ надъ нимъ, но давно и безвозвратно оторвалась отъ корней стихійной народной жизни и гарцуетъ по ея поверхности, подобно утлымъ ладьямъ на волнахъ океана, конечно, только до тѣхъ поръ, пока океану не вздумается ихъ опрокинуть и утопить.

Но не объ этомъ теперь рѣчь. Заговоривъ о свойствахъ и характерѣ итальянскаго народа, я лишь имѣлъ въ виду объяснить вамъ, почему послѣ мѣсячнаго пребыванія въ Венеціи, наканунѣ отъѣзда и въ самый его день, я съ такою глубокой грустью, почти со слезами, разставался, словно съ близкимъ и дорогимъ мнѣ существомъ, не только съ самой Венеціей, съ соборомъ и пло-

щадью Св. Марка, съ церквами, дворцами и каналами, но со всей уличной венеціанской толпой, съ каждымъ встрѣчнымъ крикуномъ-мальчишкой и артистической богемой, по вечерамъ на Canale Grande, въ иллюминованныхъ баркахъ, распѣвающей серенады; съ бродячимъ уличнымъ продавцомъ плодовъ и зелени, съ каждой безобразной нищей старухой и съ картинно стоящимъ на кормѣ своей черной, молча скользящей по водѣ гондолы, мѣрно и однозвучно гребущимъ красавцемъ гондольеромъ. Утѣшала меня только мысль, что, прощаясь съ Венеціей, я не прощаюсь съ Италіей и что въ предстоящемъ мнѣ путешествіи она обогатитъ меня, быть можетъ, еще болѣе роскошными и драгоцѣнными дарами.

Я не ошибся. Водяная красавица, приманившая меня въ Венеціи таинственнымъ сверканіемъ русалочнаго взора, обольстившая шепотомъ и лаской волнъ и яркой роскошью самодѣльныхъ и со всѣхъ концовъ міра приплывшихъ къ ней по водамъ сокровищъ, обратилась во Флоренціи въ красавицу земную, въ юную, чистую, влюбленную въ божество дѣвушку, облаченную въ одѣяніе изъ зелени и цвѣтовъ, съ кроткой, безсознательно-прекрасной улыбкой на устахъ и долу опущеннымъ смиреннымъ взоромъ непорочной Мадонны.

Въ Венеціи Италія меня увлекла и опьянила; во Флоренціи она заставила меня преклонить передъ нею колѣна въ молитвенномъ умиленіи.

Но чѣмъ сильнѣе становились мои впечатлѣнія, чѣмъ глубже и полнѣе я познавалъ не только

внѣшній образъ, но и внутреннее содержаніе,—такъ сказать, смыслъ Италіи, тѣмъ громче и настойчивѣе въ душѣ сталъ раздаваться какой-то призывный голосъ. Онъ говорилъ: все, что ты видѣлъ, что ты чувствовалъ доселѣ, лишь начало откровенія. Ты поднялся по ступенямъ храма и откинулъ дверную завѣсу, ты вступилъ въ притворъ и даже въ самый храмъ и уже обозрѣваешь его стройные своды и изукрашенныя стѣны; но алтарь, но святилище впереди; не теряй времени, поспѣшай туда.

И подъ вліяніемъ этого внутренняго голоса, этого охватившаго меня нетерпѣливаго предчувствія чего-то неизмѣримо важнаго и рѣшительнаго, имѣющаго наступить въ моей жизни, я, только поверхностно и наскоро осмотрѣвъ достопримѣчательности Флоренціи, пустился въ дальнѣйшій путь.

IV.

Помню, какъ теперь: была облачная, безлунная, беззвѣздная ночь, когда поѣздъ подошелъ къ Риму и остановился въ дымномъ, полутемномъ вокзалѣ. Я вышелъ на площадь, передалъ вещи комиссіонеру, а самъ налегкѣ въ открытой коляскѣ отправился въ гостиницу. Ѣхать пришлось довольно далеко, по широкимъ и узкимъ, прямымъ и кривымъ, подымающимся на холмы и сбѣгающимъ съ нихъ улицамъ. Насколько я могъ ихъ разглядѣть при тускломъ мерцаніи фонарей, онѣ ничѣмъ не отличались отъ улицъ всѣхъ большихъ европейскихъ городовъ. Въ прихожей и коридорахъ гости-

ницы, за позднимъ часомъ ночи, все было безмолвно, пусто и мрачно. Я занялъ первую предложенную мнѣ заспаннымъ швейцаромъ комнату, подошелъ къ окну, взглянулъ,—но и въ окнѣ ничего не было видно. Старецъ Римъ, гордо завернувшись въ черную тогу, встрѣтилъ меня суровымъ, гробовымъ молчаніемъ.

Въ смятеньи, подобномъ тому, какое испытываетъ холодно принятый въ чужомъ домѣ гость, я смиренно укрылся въ своемъ уголкѣ, раздѣлся, легъ въ кровать и пытался заснуть; но долго какое-то не то тревожное, не то радостное волненіе не давало мнѣ забыться, и только подъ утро, когда по близости раздался церковный звонъ, живо напомнившій мнѣ благовѣстъ къ заутрени въ приходской моей церкви въ Москвѣ,—я почувствовалъ внезапное успокоеніе и, сливая въ замирающемъ сознаніи мѣрные удары колокола съ неустанно повторяемымъ въ мысляхъ именемъ—Римъ, Римъ, Римъ—я погрузился въ благодатный сонъ утомленнаго странника, достигшаго, наконецъ, завѣтной цѣли своего пути.

V.

Нѣсколько дней спустя, когда я уже успѣлъ до нѣкоторой степени въ Римѣ освоиться, наглядѣлся на него съ высоты Монте-Пинчіо, посѣтилъ соборъ Св. Петра, еще нѣкоторыя другія церкви и приступилъ къ осмотру Ватикана, со мной случилось

слѣдующее, на первый взглядъ, совершенно неважное и нелюбопытное происшествіе.

Послѣ утра, проведеннаго въ Сикстинской капеллѣ, я собрался возвращаться къ себѣ въ гостиницу, и такъ какъ до часа завтрака оставалось еще довольно много времени, то и пошелъ, не торопясь, пѣшкомъ, избравъ даже не кратчайшій путь. Перейдя черезъ мостъ, я побрелъ вдоль берега Тибра, заглядывая въ окна и открытыя двери лавокъ, обвѣшанныхъ и загроможденныхъ всякими старинными и новыми вещами, выдаваемыми словоохотливыми торговцами за драгоцѣнную древность. Въ тѣсномъ помѣщеніи одной изъ такихъ лавокъ столкнулся я лицомъ къ лицу съ знакомымъ мнѣ по Петербургу, довольно извѣстнымъ русскимъ живописцемъ Кудряшовымъ. Его картины, благодаря мрачной тенденціозности ихъ содержанія, пользовались въ продолженіе нѣкотораго времени успѣхомъ на выставкахъ такъ называемыхъ передвижниковъ. Мнѣ онѣ не нравились, да и личность самаго Кудряшова не располагала къ какому-либо съ нимъ сближенію. Словомъ—встрѣча была не особенно пріятная, тѣмъ болѣе, что Кудряшовъ оказался не одинъ, а въ обществѣ какого-то Николая Сергѣевича Иванова, совершенно мнѣ неизвѣстнаго стараго господина, съ которымъ, по русскому плохому обычаю, Кудряшовъ не преминулъ меня тотчасъ же познакомить. Перекинувшись обязательными въ такихъ случаяхъ полусловами и полуулыбками, я хотѣлъ раскланяться и пойти дальше, но Кудряшовъ меня остановилъ.

— Постойте, постойте!—воскликнулъ онъ, становясь поперекъ дороги и показывая какую-то грязную, позеленѣвшую отъ времени, или искусственно приведенную въ такое состояніе, бронзовую статуэтку, повертывая ее въ рукахъ съ видомъ цѣнителя и знатока.

— Какого вы мнѣнія объ этомъ предметцѣ? Вотъ отъ Николая Сергѣевича никакого мнѣнія добиться не могу; онъ по своей привычкѣ только помалчиваетъ, да усмѣхается... Не скажете ли вы что-нибудь? На мой взглядъ—старина несомнѣнная, форменный антикъ!... вкусная штучка!

— Да если даже и вкусная штучка, какъ вы выражаетесь, на что вамъ она?—съ нескрываемой насмѣшкой замѣтилъ Ивановъ; и тутъ же, снявъ съ двери висѣвшую на гвоздѣ небольшую картинку съ изображеніемъ голой женщины, поднесъ ее Кудряшову.

— Вотъ купите лучше эту новизну,—она, пожалуй, еще вкуснѣе; и по крайней мѣрѣ въ цѣнѣ не ошибетесь.

Кудряшовъ презрительно фыркнулъ, пожалъ плечами и, возвративъ статуэтку недоумѣвающему хозяину, взялъ меня по-пріятельски подъ руку и повелъ на улицу.

— Съ почтеннымъ Николаемъ Сергѣевичемъ, когда онъ находится въ такомъ расположеніи духа, какъ сегодня, никакого пива не сваришь. Пойдемте лучше прогуляться — произнесъ онъ достаточно громко, чтобы Ивановъ могъ его слышать, и быстро зашагалъ впередъ, продолжая влечь и меня съ

собою. Пройдя, однако, десятокъ-другой шаговъ, Кудряшовъ какъ бы одумался и пониженнымъ голосомъ сказалъ мнѣ:

— Все-таки надо его подождать... а то вышло какъ-то неловко.

Мы остановились.

Ивановъ, между тѣмъ, тщательно повѣсилъ картину на прежнее мѣсто, отряхнулъ съ рукъ и платья приставшую къ нимъ пыль, кивнулъ головой торговцу и, спокойно поглядывая по сторонамъ, медленно направился въ нашу сторону. Пока онъ приближался, я успѣлъ хорошо разглядѣть его, освѣщенную съ ногъ до головы солнцемъ, крупную, не совсѣмъ заурядную фигуру.

Въ обликѣ этого широкоплечаго, сѣдовласаго, красиваго старика, со свѣтившимися изъ-подъ полей мягкой соломенной шляпы широкимъ, умнымъ лбомъ и темными, вдумчивыми глазами, проглядывала какая-то внутренняя сила, какая-то уравновѣшенность и вмѣстѣ съ тѣмъ изящество, которыя сразу привлекали къ себѣ. Вглядѣвшись въ Иванова, я почему-то не только пересталъ досадовать на Кудряшова за новое знакомство, но даже былъ радъ, когда старикъ, поровнявшись съ нами, заговорилъ со мной.

— Вы бывали и прежде въ Римѣ, или попали сюда въ первый разъ?—спросилъ онъ.

— Я въ первый разъ не только въ Римѣ, но и вообще въ Италіи,—отвѣтилъ я.

— И какое же Италія произвела на васъ впечатлѣніе?

Я смутился, не находя, что̀ отвѣтить, и нѣсколько мгновеній молчалъ; но, должно быть, на лицѣ моемъ выразилось, что я молчу не отъ отсутствія, а отъ избытка впечатлѣній.

— Ага!—будто чему-то обрадовавшись, произнесъ Ивановъ, не спуская съ меня пристально-испытующаго взгляда.

— Въ краткихъ словахъ о такихъ впечатлѣніяхъ ничего сказать нельзя, — наконецъ, вымолвилъ я.

— И не надо,—одобрилъ меня старикъ.—Вы совершенно правы, не отвѣчая на мой глупый вопросъ и не повторяя восклицаній, гримасъ и ужимокъ, которыми большинство посѣтителей и въ особенности посѣтительницъ Италіи выражаютъ свои напускные восторги. Прошу великодушно меня простить.

Въ это время Кудряшовъ вмѣшался въ нашъ разговоръ и, забѣжавъ нѣсколько впередъ, торопливо заговорилъ, поглядывая то на Иванова, то на меня.

— А вѣдь, не правда ли, Римъ чудесный городъ? Грязенъ маненько и въ ресторанахъ кормятъ не ахтительно; зато какой климатъ! какой воздухъ! какіе виды!—напримѣръ съ Монте-Пинчіо. Я туда каждый вечеръ ѣзжу слушать музыку и любоваться смазливыми итальяночками. Просто, доложу вамъ,—одна поэзія! О галлереяхъ, музеяхъ и прочемъ всемъ, по части моей спеціальности, то есть искусства, я и не говорю: совсѣмъ съ ногъ-сшибательно...

— Куда вы теперь направляетесь?—невѣжливо, съ выраженіемъ брезгливости на лицѣ перебивъ Кудряшова, обратился ко мнѣ Ивановъ.

— Я было собрался къ себѣ въ гостиницу позавтракать,—отвѣчалъ я, словомъ «было» выражая полную готовность перемѣнить намѣреніе, если бы Иванову вздумалось мнѣ предложить что-нибудь другое.

Старикъ это тотчасъ понялъ.

— Въ такомъ случаѣ,—сказалъ онъ,—не сдѣлаете ли вы мнѣ честь, вмѣсто гостиницы, пройти и раздѣлить со мной мою скромную трапезу? Я живу на квартирѣ собственнымъ хозяйствомъ и былъ бы очень радъ и благодаренъ вамъ, если бы вы меня посѣтили. Обмѣняемся мыслями... побесѣдуемъ. Васъ же, милѣйшій,—обратился онъ къ Кудряшову,—я не приглашаю: боюсь, что моя Маріэтта не удовлетворитъ вашего гастрономическаго вкуса и растеряется при видѣ нѣсколькихъ гостей.

— Если бы вы и пригласили меня,—съ внезапно напущеннымъ на себя холоднымъ достоинствомъ отозвался Кудряшовъ,—я бы не могъ воспользоваться вашимъ приглашеніемъ: мой пріятель баронъ фонъ-Эйзенъ ждетъ меня къ завтраку въ Café Colonna.

— Въ Café Colonna, — сообразилъ Ивановъ.— Стало быть, намъ и идти отсюда не по одной дорогѣ: вашъ путь направо, по этой улицѣ, а намъ съ господиномъ Погостовымъ—прямо къ Испанской площади, около которой я живу. Итакъ, до свиданія, милѣйшій, желаю вамъ пріятнаго аппетита.

Кудряшовъ съ кислой улыбкой пожалъ намъ обоимъ руки и удалился.

— Вы не думаете, что онъ обидѣлся на васъ за то, что вы его не пригласили?—освѣдомился я.

— Стоитъ ли объ этомъ думать! — небрежно отозвался Ивановъ и въ объясненіе добавилъ: этотъ господинъ вообще несносенъ своей кричащей пошлостью, а когда осмѣливается еще вдобавокъ считать себя художникомъ и называть искусство своею спеціальностью,—меня это просто выводитъ изъ себя.

По голосу и выраженію лица, съ какими Ивановъ произнесъ эти два слова—художникъ и искусство—я внутренно заключилъ, что онъ-то самъ должно быть художникъ настоящій и искусство для него не предметъ празднаго разговора или забавы, а святыня.

— Вы сами, Николай Сергѣевичъ,—не живописецъ?—справился я, желая тотчасъ же провѣрить свое впечатлѣніе.

— О, нѣтъ, отвѣчалъ Ивановъ.—Пытался я въ юности имъ сдѣлаться, но таланта не оказалось и пришлось бросить эту затѣю. Я просто созерцатель художественной красоты и поэзіи, въ чемъ бы и гдѣ бы они ни проявлялись. Я люблю, я чту искусство и служу ему по мѣрѣ моихъ способностей и силъ, не какъ жрецъ, а какъ добровольно приставившійся къ храму служитель. Кто оскорбляетъ во мнѣ это мое религіозное чувство—тотъ мнѣ врагъ, а тѣ, въ которыхъ я нахожу или надѣюсь найти сочувствіе и пониманіе (старикъ

взглянулъ мнѣ въ глаза), тѣхъ я считаю своими друзьями. Въ этомъ прошу найти оправданіе той смѣлости, съ которой я пригласилъ васъ къ себѣ въ первый же часъ нашего знакомства и даже не удостовѣрившись предварительно, можетъ ли это доставить вамъ удовольствіе или нѣтъ? Я всегда довѣряю первымъ безсознательнымъ движеніямъ души.

Я поблагодарилъ Иванова.

— Не вы меня, а я васъ долженъ благодарить за ваше согласіе, — возразилъ онъ. — Вѣдь найти человѣка, съ кѣмъ можно обмѣняться живымъ, задушевнымъ словомъ, отвести душу,—великая радость въ жизни; только дается она не часто и,— Боже мой!—сколько разъ я въ этомъ отношеніи дѣлалъ самые постыдные и нелѣпые промахи! Почудится вдругъ, что въ человѣкѣ есть и пониманіе, и чуткость, и любовь къ моимъ богамъ; распахнешься, начнешь говорить, увлекаться... Глядишь,— а онъ оказывается бревно-бревномъ, или, еще хуже того, притворщикомъ, который изъ хвастовства или отъ праздности васъ же морочилъ и надъ вами же потѣшался!

— Притворщика во мнѣ вы не найдете; но все-таки я боюсь не оправдать вашихъ ожиданій. Я заѣхалъ въ Италію случайно, безъ всякой подготовки и попалъ въ совершенно новый, невѣдомый для меня міръ. Онъ меня сразу какъ-то ошеломилъ, и я до сихъ поръ не могу еще самъ разобраться въ своихъ чувствахъ и мысляхъ.

— Тѣмъ лучше,—успокоилъ меня Ивановъ;—эта свѣжесть и непосредственность впечатлѣній для меня въ васъ всего дороже; но не станемъ забѣгать впередъ. Я опять виноватъ, что на улицѣ завелъ совсѣмъ не уличный разговоръ. Вотъ, когда я васъ приведу къ себѣ, покажу вамъ мою скромную келью, позавтракаемъ чѣмъ Богъ послалъ и усядемся потомъ на чистомъ воздухѣ, на террасѣ,— тогда наговоримся всласть и объ искусствѣ, и объ Италіи, и о Римѣ; а пока... не попадайте подъ лошадей. Итальянскіе кучера довольно равнодушно относятся къ безопасности прохожихъ.

Мы пересѣкали въ эту минуту Корсо, и Ивановъ, ухвативъ меня за рукавъ, сильнымъ движеніемъ потянулъ назадъ; я попятился — и въ господинѣ, развалившемся въ коляскѣ, которая чуть было меня не задавила, — мы тотчасъ же узнали Кудряшова. Онъ тоже насъ увидалъ и успѣлъ крикнуть:

— Я опоздалъ, баронъ фонъ-Эйзенъ отзавтракалъ... ѣду домой.

— Да ну тебя совсѣмъ... художникъ! — проворчалъ Ивановъ, недовольно взглянувъ вослѣдъ удалявшейся коляскѣ.

Мы оба разсмѣялись и пошли дальше.

VI.

Небольшая, но уютная квартира, гдѣ въ продолженіе многихъ уже лѣтъ жилъ Ивановъ, отражала въ полной мѣрѣ характеръ и вкусы своего хозяина. Пока накрывали на столъ, старикъ съ видимымъ

удовольствіемъ водилъ меня по комнатамъ, останавливаясь и указывая на любимые и особенно цѣнимые имъ предметы — старинную мебель, мраморы, картины. Ихъ было сравнительно немного; они не пестрили въ глазахъ и не суетили вниманія, какъ это бываетъ, когда попадешь къ человѣку, болѣющему маніей собирательства; каждая вещь занимала подходящее и обдуманно избранное для нея мѣсто, выдѣляясь въ простотѣ общей обстановки всею силою и полнотой присущаго ей достоинства.

Еще одна особенность сразу кинулась мнѣ въ глаза: полное отсутствіе во всей квартирѣ какихъ бы то ни было украшеній, созданныхъ не искусствомъ, а ремесломъ. Предметы повседневнаго домашняго обихода, новая мебель, занавѣси на окнахъ и дверяхъ, принадлежности кабинета, даже мелкія вещи на столахъ — все было до странности, даже до грубости просто, гладко, не отдѣлано. На мое объ этомъ замѣчаніе Ивановъ не безъ гордости сказалъ, что его обстановка дѣйствительно оригинальна, потому что сдѣлана вся по особымъ его заказамъ, и что онъ позволяетъ себѣ великую, безумную, какъ онъ выразился, роскошь,—не оскорблять, по крайней мѣрѣ у себя дома, своего эстетическаго чувства безобразіемъ и безвкусіемъ фабричнаго производства.

— Если бы всѣ, или очень многіе, поступали такъ же, какъ и я, добавилъ онъ,—подумайте, сколько милліардовъ денегъ могло бы быть сохранено для

удовлетворенія насущныхъ потребностей и между прочимъ на поощреніе истиннаго искусства и талантовъ; съ другой же стороны, сколько милліоновъ трудовыхъ рукъ и часовъ, тратящихся теперь безполезно на изготовленіе никому ненужнаго и никуда негоднаго хлама, обратились бы на полезную и производительную работу. Будь я общественный дѣятель, или публицистъ, я непремѣнно сталъ бы проповѣдывать мысль объ учрежденіи общества, имѣющаго исключительною цѣлью безпощадное гоненіе мнимой роскоши и мнимыхъ потребностей, которыя отравляютъ жизнь огромнаго большинства людей. Такое общество, повѣрьте, принесло бы страждущему человѣчеству несравненно больше пользы, чѣмъ не только экономическія теоріи и благотворительныя затѣи, но и государственные законы, посредствомъ которыхъ такъ тщетно стараются поднять благосостояніе народовъ.

— Отчего же вы этого не дѣлаете и не пускаете въ ходъ вашу, какъ мнѣ кажется, дѣйствительно очень вѣрную мысль?

— Гдѣ мнѣ этимъ заниматься! Не мое это дѣло... Я, какъ вамъ уже сказалъ, созерцатель красоты, поэтъ въ душѣ, — съ меня довольно.

— Но развѣ одно помѣшало бы другому?

— Непремѣнно,—коротко и рѣшительно отвѣтилъ Ивановъ,— я не хочу создавать себѣ никакихъ помѣхъ къ достиженію цѣли моей жизни.

Внутренно я не могъ не позавидовать моему новому знакомому, для котораго цѣль жизни была, повидимому, такъ проста и ясна.

Созерцатель красоты, поэтъ — мысленно повторилъ я слова Иванова. — Но почему онъ такъ не похожъ на всѣхъ шатающихся по Европѣ, сибаритствующихъ русскихъ баръ, тоже, вѣдь, созерцателей и поэтовъ въ душѣ, отъ которыхъ, однако, вѣетъ какимъ-то затхлымъ бездѣльемъ, какою-то растерянною праздностью? Почему этотъ человѣкъ такъ спокоенъ, такъ увѣренъ въ себѣ, какъ будто дѣло дѣлаетъ, долгъ какой-то исполняетъ? Откуда берутся въ немъ эта здоровая бодрость, эта, сказывающаяся въ каждомъ движеніи, въ каждомъ словѣ, цѣльность характера и сила воли? Всѣ эти вопросы разрѣшились, по крайней мѣрѣ, на мой взглядъ, очень просто и скоро, когда по поводу двухъ портретовъ въ кабинетѣ я узналъ о происхожденіи Иванова.

Одинъ изъ этихъ портретовъ —несомнѣнное произведеніе кисти кого-либо изъ даровитѣйшихъ старыхъ русскихъ художниковъ—изображалъ красивую знатную даму, въ бархатѣ, кружевахъ и драгоцѣнностяхъ, съ тонкими не совсѣмъ русскими чертами лица и большими темными задумчивыми глазами, напоминавшими глаза самого Иванова.

— Это портретъ моей матери,—сказалъ онъ.

— Вы напоминаете вашу мать,—замѣтилъ я.

— Очень мало; отъ нея я унаслѣдовалъ только выраженіе глазъ. Всѣмъ же остальнымъ—чертами лица, ростомъ и сложеніемъ я уродился въ отца. Вы можете въ этомъ убѣдиться, взглянувъ на эту акварель.

Онъ взялъ со стола и показалъ мнѣ блѣдный, выцвѣтшій отъ времени и очень плохо написанный портретъ мужчины среднихъ лѣтъ, рослаго, коренастаго, со всѣхъ сторонъ словно обрубленнаго топоромъ, въ одеждѣ не то зажиточнаго крестьянина, не то мелкаго торговца, съ волосами, обстриженными въ кружокъ, съ проборомъ по серединѣ головы и неловко сложенными на колѣняхъ руками. Когда я не безъ удивленія посмотрѣлъ на это изображеніе, Ивановъ, ставя его обратно на столъ, счелъ нужнымъ дать мнѣ поясненіе.

— Происхожденіе мое не совсѣмъ обыкновенное, —сказалъ онъ.—Въ жилахъ моихъ течетъ и иноплеменная, и русская барская, и русская мужицкая кровь. Бабка моя съ материнской стороны была итальянка; мать урожденная княжна Бартынская, наслѣдница большого состоянія, осиротѣла въ раннемъ дѣтствѣ и воспитывалась у родственниковъ, державшихъ ее чуть ли не взаперти съ цѣлью насильственной выдачи замужъ. По словамъ матери, она въ то время натерпѣлась много обидъ и горя. Однажды, когда ей стало невтерпежъ, она, при помощи полюбившагося ей сына бурмистра,— какъ тогда называли управляющихъ барскими имѣніями изъ крѣпостныхъ,—задумала освободиться изъ своего заточенія и, къ ужасу всей родни, не только убѣжала изъ дому, но и обвѣнчалась со своимъ освободителемъ. Отъ этого брака, надѣлавшаго въ свое время много шума въ высшемъ обществѣ, я и родился. Отецъ мой, по свидѣтельству всѣхъ знавшихъ его, да и насколько я самъ его помню,

былъ добрый, честный и благородный въ лучшемъ смыслѣ этого слова человѣкъ —своего рода Разумовскій. Неравный бракъ не вскружилъ ему голову; онъ не только не зазнался, но даже не захотѣлъ, какъ вы это видите по портрету, измѣнить покроя одежды; чтилъ онъ мою мать, какъ божество, и обращался съ ней въ продолженіе всего времени ихъ брачнаго сожитія не какъ съ ровней, а какъ съ Богомъ данной ему госпожей и благодѣтельницей. До его смерти мы жили безвыѣздно въ курскомъ имѣніи, а когда отецъ умеръ, мать, не желая навязывать ни себя, ни меня отвергнувшему ее обществу,—что могла бы сдѣлать, благодаря сильнымъ связямъ при дворѣ, — увезла меня съ собой за границу и поселилась въ Дрезденѣ, гдѣ я и получилъ воспитаніе. Я за это ей безконечно благодаренъ, тѣмъ болѣе, что связи съ отечествомъ я не терялъ; лѣтніе мѣсяцы мы продолжали проводить въ деревнѣ, а осенью, передъ возвращеніемъ въ Дрезденъ, часто заѣзжали въ Италію и преимущественно въ Римъ, гдѣ у матери нашлись родственники по бабкѣ моей—очень милые и радушные люди.

Вы теперь знаете, почему я люблю Италію и поселился подъ старость лѣтъ въ Римѣ, да и вообще, кто я таковъ; при новыхъ знакомствахъ это не мѣшаетъ.

Окончивъ обзоръ кабинета, Ивановъ повелъ меня взглянуть и на его спальню.

— Мнѣ хочется,—сказалъ онъ,—показать вамъ одну древнюю икону Божіей Матери, византійскаго стиля. По семейнымъ преданіямъ, она чудотворная;

во время пожара, отъ котораго сгорѣлъ весь домъ, икона эта одна осталась цѣла и невредима, и я этому вѣрю; она и теперь не перестаетъ со мной творить чудеса: какъ бы и чѣмъ бы я ни былъ озабоченъ, огорченъ и разсерженъ,—стоитъ мнѣ взглянуть на Ея божественный ликъ,—заботы, горя и гнѣва какъ не бывало!

«Все мнѣ въ этомъ человѣкѣ теперь ясно и понятно»,—подумалъ я, проходя вслѣдъ за Ивановымъ въ спальню и глядя, съ какой бережной заботливостью и умиленіемъ онъ вынулъ икону изъ кіота и сталъ ее вмѣстѣ со мною разглядывать.

Итальянское солнце, атмосфера стараго барскаго дома, сообща съ русскимъ черноземомъ и нѣмецкой школой—вотъ что̀ создало и выковало эту крупную личность. Сразу я взглянулъ на Иванова и на всю окружавшую его обстановку совсѣмъ иными глазами. Все мнѣ показалось тѣсно, неразрывно, органически между собою связано, до мельчайшихъ подробностей, даже до ветхой, потемнѣвшей отъ времени, гитары, которая неподалеку отъ иконы висѣла надъ кроватью Иванова.

— Это моя неразлучная спутница,—сказалъ онъ, увидавъ, что я ее замѣтилъ.—Когда-то у меня былъ недурной голосъ, и я любилъ пѣть подъ акомпаниментъ ея струнъ. Теперь храню эту старушку, какъ воспоминаніе о давно прошедшихъ временахъ.

На этихъ словахъ нашъ разговоръ былъ прерванъ. Въ комнату вошелъ слуга—благообразный, сѣдой, но очень подвижной итальянецъ, котораго Ивановъ называлъ другомъ Луиджи; онъ объявилъ, что кушанье подано, и мы прошли въ столовую.

VII.

Замѣтили ли вы, что ничто такъ не способствуетъ быстрому сближенію людей между собою, какъ совмѣстная трапеза въ простой домашней обстановкѣ? Случается, что знакомые, встрѣчавшіеся много лѣтъ безъ всякаго взаимнаго другъ къ другу влеченія, послѣ случайной бесѣды за столомъ и стаканомъ вина сразу становятся хорошими пріятелями,—а то даже и друзьями,—и сохраняютъ потомъ эти отношенія до конца своихъ дней.

Нѣчто подобное, только безъ предварительнаго знакомства, произошло между Ивановымъ и мной. Завтракъ нашъ прошелъ въ непринужденной болтовнѣ; Луиджи служилъ весело и усердно; въ растворенныхъ настежь дверяхъ буфета отъ времени до времени появлялась молодая, смуглая, съ копной темно-рыжихъ волосъ на головѣ, фигура красавицы Маріэтты, передававшей Луиджи блюда и съ любопытствомъ заглядывавшей въ столовую на незнакомаго гостя. Надышавшись утреннимъ воздухомъ во время ходьбы по городу, и Ивановъ, и я—оба мы проголодались, и приготовленныя Маріэттой макароны, обильно посыпанныя тертымъ пармезаномъ, и поданная затѣмъ съ пылу сочная жареная курица показались намъ отмѣнно вкусными яствами. Я любовался на здоровый аппетитъ старика и на удовольствіе, съ какимъ послѣ обѣихъ блюдъ онъ выпивалъ по стакану воды, въ которую Луиджи со скупой заботливостью подли-

валъ немного вина. Въ здоровомъ тѣлѣ здоровый духъ—вспомнилась мнѣ старинная пословица, а Ивановъ, какъ бы въ отвѣтъ на мою мысль, заговорилъ о винѣ.

— Вы молоды, вамъ на видъ лѣтъ тридцать?— освѣдомился онъ.

— Нѣсколько больше... а что?

— Во всякомъ случаѣ вы въ такомъ возрастѣ, когда можно и даже должно пить вино. Пьянство— безобразно и противно; я всегда его ненавидѣлъ; но чувство легкаго охмелѣнія отъ двухъ, трехъ стакановъ добраго вина—я очень любилъ; мысли какъ-то проясняются, впечатлительность растетъ, рѣчь льется свободнѣе и пріобрѣтаетъ особую выразительность. Очень пріятно и хорошо! Къ сожалѣнію, подъ старость лѣтъ я лишенъ этого удовольствія; вино, даже въ самомъ умѣренномъ количествѣ, меня уже не бодритъ, а отягощаетъ. Мы, поэтому, уговорились съ моимъ другомъ и ровесникомъ Луиджи въ чистомъ видѣ вина больше не пить, а разбавлять его водой. Относительно меня, какъ видите, Луиджи уговоръ исполняетъ въ точности, ну, а самому ему иногда еще случается не выдерживать характера и опоражнивать флягу любимаго имъ Кіанти безъ всякой примѣси воды. Происходитъ это, однако, какъ я замѣтилъ, только въ тѣ дни, когда Маріэтта не въ духѣ и не расположена терпѣливо выслушивать его влюбленныя бредни.—Такъ вѣдь, Луиджи?

Не понимая русскихъ словъ, но догадываясь, о чемъ шла рѣчь, слуга было загорячился и съ уси-

ленными жестами сталъ что-то выговаривать хозяину, но тотъ успокоительно потрепалъ его по плечу; мы встали и вышли изъ-за стола, вполнѣ довольные и завтракомъ, и Маріэттой, и Луиджи и другъ другомъ.

Не знаю, что больше на меня подѣйствовало: привлекательное ли радушіе хозяина, выпитое ли вино или, наконецъ, ясный римскій полдень, охватившій меня своимъ тепломъ и ароматомъ; но когда мы усѣлись на террасѣ, посреди обвивающихъ ее зелени и цвѣтовъ, я почувствовалъ неодолимую потребность подѣлиться съ Ивановымъ противорѣчивыми мыслями и сомнѣніями, волновавшими меня въ теченіе послѣдняго времени. Вкратцѣ разсказавъ про юношескіе годы, проведенные въ Москвѣ, и про мои потомъ долговременныя скитанія (о встрѣчѣ съ Матрешей я не упомянулъ), я прямо перешелъ къ моему увлеченію революціонными идеями. Ивановъ внимательно слушалъ, изрѣдка прерывая меня вопросами и мѣткими замѣчаніями. Между прочимъ, онъ усомнился въ томъ, что Вагнеръ повліялъ на меня болѣе, какъ революціонеръ, нежели, какъ художникъ.

— Вы, кажется, безсознательно на себя клевещете,—съ улыбкой сказалъ старикъ.—Не будь вы уже ранѣе подъ обаяніемъ музыкальнаго творчества Вагнера, — ни политическія его писанія, ни личный примѣръ на васъ бы такъ, конечно, не подѣйствовали. Вообще,—добавилъ онъ,—такіе люди, какъ Вагнеръ въ музыкѣ и Леонардъ въ живописи для меня,—долженъ вамъ признаться,—всегда

были и останутся необъяснимыми загадками. Леонарда вы разглядѣть еще, конечно, не успѣли, но я увѣренъ, въ томъ, что, какъ горячему вагнеристу, онъ непремѣнно придется вамъ тоже по душѣ. Вагнеръ и Леонардъ—это родные братья; къ нимъ, пожалуй, можно еще причислить, какъ представителя поэзіи, Байрона. Къ сожалѣнію, я не могу вамъ въ этомъ сочувствовать, хотя вполнѣ сознаю, что во всѣхъ трехъ чуется какая-то титаническая мощь. Я отъ нея, однако, опасливо сторонюсь. Во всѣхъ другихъ своихъ воплощеніяхъ красота ласкаетъ, успокаиваетъ, радуетъ; въ созданіяхъ Леонарда, Вагнера и Байрона она тревожитъ и даже пугаетъ.

— Но вѣдь эта тревога, этотъ страхъ тоже даютъ наслажденіе,—возразилъ я.

— Конечно, конечно,—согласился Ивановъ,—но наслажденіе наслажденію рознь. Въ человѣческой природѣ есть странныя, таинственныя черты и особенности: для иныхъ ощущеніе смертельной опасности, безумный рискъ, сознательное совершеніе дурного поступка, даже преступленія, наконецъ, зрѣлище мукъ и вопли страданія являются источниками наслажденія. Любованье картинами Леонарда и въ особенности увлеченіе творчествомъ Байрона и Вагнера несомнѣнно принадлежатъ къ явленіямъ именно этого порядка, и когда мнѣ случается испытывать на себѣ, какъ кролику передъ пастью удава, притягательную силу этихъ чародѣевъ, я пугаюсь и убѣгаю безъ оглядки, чтобы кинуться въ объятія Пушкина, Моцарта и Рафаэля

и у нихъ искать защиты отъ дьявольскаго навожденія. Вы храбрѣе меня; вы этого чувства не испытываете. Тѣмъ лучше для васъ; ваша область художественнаго наслажденія глубже и шире, чѣмъ моя... Но довольно объ этомъ; мы уклонились въ сторону отъ вашего разсказа; возвратимся къ нему... я васъ слушаю.

Испытанная мною внутренняя борьба и разочарованіе по поводу послѣднихъ событій въ Россіи оставили Иванова равнодушнымъ; онъ слушалъ меня разсѣянно и молча; зато, когда я дошелъ до венеціанскихъ и флорентинскихъ впечатлѣній, лицо старика оживилось и онъ опять сталъ меня прерывать замѣчаніями и вопросами.

— Вотъ это настоящее дѣло, вотъ это хорошо!— приговаривалъ онъ, освѣдомляясь въ то же время о томъ, видѣлъ ли я и замѣтилъ ли то или другое художественное произведеніе, и радуясь, когда мои впечатлѣнія совпадали съ тѣми, которыя онъ когда-то самъ испытывалъ.

Я заключилъ свой довольно безсвязный, но откровенный разсказъ повтореніемъ, что въ Италіи передо мной открылся новый міръ. Его чары меня опьянили; но останусь ли я подъ обаяніемъ этихъ чаръ, или оторвусь отъ нихъ, чтобы вернуться назадъ къ прерванному дѣлу?—не вѣдаю. Стою въ нерѣшительности, на распутьи двухъ дорогъ и долго ли еще такъ простою?—тоже не знаю.

— Не знаете, не знаете,—неодобрительно заговорилъ Ивановъ,—надо знать... Надо во что бы то ни стало знать! Иначе жизнь будетъ не въ жизнь.

Конечно, для человѣка, сбившагося со своей колеи, отыскать новую дорогу, найти свое настоящее призваніе какъ будто и трудно. Но простите меня, если я теперь же безъ всякихъ обиняковъ откровенно выскажу вамъ свое мнѣніе: вы настолько же не сотворены для политической, а тѣмъ болѣе для революціонной дѣятельности, насколько не сотворенъ для нея и я. Для политика и для революціонера прежде всего необходима способность сосредоточивать всѣ мысли и чувства на избранномъ предметѣ и, уставивъ глаза въ одну точку, ломиться впередъ, не уклоняясь въ сторону ни направо, ни налѣво. Это своего рода сила, которою я совсѣмъ не обладаю и,—судя потому, что вы успѣли мнѣ о себѣ разсказать,—не обладаете и вы. Какіе мы съ вами революціонеры! Собираться идти въ сраженіе, на приступъ непріятельской крѣпости и не быть увѣреннымъ въ томъ, что въ самую рѣшительную минуту боя не остановишься и не заглядишься на пролетающее надъ головою облако—развѣ въ этомъ есть смыслъ! Принципъ раздѣленія труда—эту альфу и омегу современной фабричности—я считаю однимъ изъ самыхъ нелѣпыхъ и пагубныхъ заблужденій; оно способствуетъ лишь тому, что съ одной стороны груды золота текутъ въ недостойныя руки, а съ другой человѣкъ низводится до уровня даже не машины, а зубца, или колеса въ машинѣ и теряетъ всякое подобіе разумнаго существа; но зато русская пословица «всякій сверчокъ знай свой шестокъ»—мнѣ представляется выраженіемъ глубочайшей на-

родной мудрости и проникновенія въ тайну гармоніи природы. Въ природѣ всему отведено свое мѣсто и назначено свое дѣло: кротъ не запоетъ пѣсенъ, соловей не станетъ рыться въ землѣ. Это не произволъ, раздѣляющій трудъ въ смыслѣ ученія экономистовъ, а коренное, необходимое разнообразіе жизненныхъ явленій, безъ котораго міръ возвратился бы къ первозданному хаосу. Предоставимъ же революціонерамъ творить предназначенное имъ судьбою дѣло, а сами будемъ глядѣть и любоваться на облака. Вы понимаете, что подъ облаками я разумѣю все высокое, художественное и прекрасное, что встрѣчается въ природѣ и жизни. Повѣрьте, это совсѣмъ не такое праздное и безполезное занятіе, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Впрочемъ—прибавилъ Ивановъ—мнѣ сдается, что я толкаюсь въ открытую дверь и что вы теперь уже сами не вѣрите въ ваше революціонное призваніе. Во всякомъ случаѣ, если и остается еще въ васъ тѣнь сомнѣнія—Римъ очень скоро ее разсѣетъ.

— Не думаю,—возразилъ я,—Римъ производитъ на меня, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, гораздо менѣе глубокое и сильное впечатлѣніе, чѣмъ я ожидалъ.

— Это такъ и быть должно, — отозвался Ивановъ,—Римъ не красавица, выставляющая себя на показъ и не кидается на шею первому встрѣчному чужестранцу. Къ Риму нужно сумѣть подойти и смириться передъ нимъ, чтобы онъ отперъ пришельцу двери своего царственнаго гостепріимства.

— То есть, какъ же это? Я васъ не вполнѣ понимаю; въ чемъ собственно должно состоять, какъ вы выразились, умѣніе подойти и смириться?

Ивановъ задумался.

— Вы любите и знаете исторію?—спросилъ онъ, наконецъ, послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

— Когда-то зналъ и увлекался ею до такой степени, что чуть было не поступилъ на историко-филологическій факультетъ.

— И что же васъ отъ этого отклонило?

— Предположеніе поступить на государственную службу и мысль, что для чиновника юридическія науки нужнѣе и полезнѣе, чѣмъ исторія.

— Такъ, такъ,—не выходя изъ своего раздумья разсѣянно пробормоталъ Ивановъ,—но вдругъ потомъ, какъ бы принявъ какое-то окончательное рѣшеніе и устремивъ на меня знакомый уже мнѣ испытующій взглядъ, обратился ко мнѣ.

— Степанъ Михайловичъ, послушайте меня: я терпѣть не могу навязываться, а тѣмъ болѣе навязывать кому-нибудь мои воззрѣнія, мой образъ мыслей... однимъ словомъ, вы меня понимаете. Старъ я для этого и достаточно наученъ житейскимъ опытомъ... Laisser faire, laisser passer—вотъ мое общее правило. Но съ вами сегодня я рѣшаюсь отступить отъ этого моего умственнаго фритредерства и предлагаю вамъ, не откладывая, сдѣлать со мной одну небольшую прогулку, которая, во всякомъ случаѣ, вамъ можетъ доставить нѣкоторое удовольствіе, а главное, какъ я надѣюсь,

разъяснитъ вамъ все, въ чемъ вы недоумѣваете и о чемъ меня спрашиваете.

Я съ радостью согласился. Мы встали и, захвативъ въ прихожей шляпы и палки, стали спускаться по лѣстницѣ. На одномъ изъ ея поворотовъ повстрѣчалась намъ, бѣжавшая откуда-то снизу, Маріэтта. Старикъ ее остановилъ и, указывая на меня, что-то сказалъ по-итальянски, чего я не понялъ. Молодая женщина сверкнула синими глазами и разсмѣялась во весь ротъ.

— Я похвалилъ ея кулинарное искусство и удостовѣрилъ, что вы остались довольны приготовленнымъ ею завтракомъ,—пояснилъ онъ мнѣ.

— Si, si, tutti molto buone, — подтвердилъ я, возбудивъ своимъ ломанымъ итальянскимъ языкомъ новый взрывъ смѣха Маріэтты.

VIII.

Выйдя на улицу, Ивановъ кликнулъ извозчика; сказалъ ему что-то, чего я опять не понялъ, или не разслыхалъ — и подъ веселое хлопанье бича, небольшая горбатая лошаденка помчала насъ куда-то по направленію къ Корсо.

— Однако, куда вы меня везете? — спросилъ я моего спутника.

— Какъ куда? — удивился онъ. Вы живете въ Римѣ и до сихъ поръ не собрались взглянуть на то, что въ немъ важнѣе и прекраснѣе всего остального — на развалины! Я хочу провезти васъ къ

нимъ и посмотрѣть, какимъ онѣ удостоятъ васъ пріемомъ.

— Въ вашемъ присутствіи и подъ вашимъ покровительствомъ я увѣренъ, что пріемъ будетъ самый радушный,—польстилъ я старику. — Вѣдь въ Римѣ вы дома.

— Всѣ въ Римѣ дома, — возразилъ Ивановъ,— Римъ общее всѣхъ насъ, европейцевъ, достояніе. Всѣ мы имѣемъ на него равныя права съ итальянцами, а пожалуй даже и большія, чѣмъ они; на ихъ душѣ много грѣховъ противъ родной старины: они долго грабили, разоряли и портили, сколько могли, историческіе памятники, чего никто изъ европейскихъ народовъ — за исключеніемъ, впрочемъ, французовъ — не дѣлалъ. Мои итальянскіе друзья сердятся и обижаются, когда я имъ это говорю; но—amicus Plato, sed magis amica veritas. Вотъ, взгляните, напримѣръ, на этотъ памятникъ— указалъ Ивановъ, когда мы стали объѣзжать небольшую, огражденную рѣшеткою и вымощенную крупными плитами площадь, уровень которой былъ значительно ниже уровня улицы.—Вы его еще не видали?

— Не видалъ,—отвѣчалъ я.

— Позвольте же мнѣ представить вамъ колонну Траяна и его форумъ. Сама колонна и ея пьедесталъ, какъ видите, — диво дивное; одно изъ лучшихъ произведеній древняго зодчества и скульптуры. Одни барельефы чего стоятъ! А между тѣмъ какой-то папа, кажется Сикстъ Пятый, взялъ, да и увѣнчалъ эту колонну, снявъ съ нея античную

статую Траяна, аляповатой фигурой Св. Петра съ нимбомъ въ видѣ тарелки на головѣ. Фигура эта портитъ мнѣ впечатлѣніе всей площади.

Ивановъ бросилъ негодующій взглядъ на вершину колонны и сердито отвернулся.

— Для меня такія подробности еще не существуютъ,—сказалъ я, не сводя глазъ съ колонны и окружающаго ея форума,—а общее впечатлѣніе совсѣмъ для меня ново и очень сильно.

Ивановъ опять встрепенулся и, повеселѣвъ, обратился ко мнѣ.

— Ново и очень сильно? — переспросилъ онъ.

— Да, очень сильно... Я чувствую на себѣ дыханіе вѣковъ, дыханіе чего-то безмѣрно великаго и прекраснаго...

— И вамъ хотѣлось бы остановиться и посмотрѣть?

— Конечно...

— Но мы этого не сдѣлаемъ,—властно объявилъ мнѣ Ивановъ.—Я не хочу, чтобы вы тратились на мелочи, на подробности и берегу ваше вниманіе для другихъ, несравненно болѣе важныхъ впечатлѣній. Теперь я спокоенъ: вы ощущаете старину; мнѣ только того и нужно. Ощущеніе старины совсѣмъ особая струна души человѣческой: она есть, или ея нѣтъ. Въ послѣднемъ случаѣ—показывайте человѣку какіе угодно памятники и чудеса, произносите передъ нимъ какія угодно ученыя, умныя рѣчи, — онъ останется слѣпъ и глухъ, въ душѣ его ничего не зазвучитъ. А у васъ зазву-

читъ непремѣнно. Теперь я уже больше въ этомъ не сомнѣваюсь...

Мы углубились въ тѣсную, темную уличку, повернули за уголъ въ такой же темный и тѣсный переулокъ и, миновавъ его, очутились на уступѣ между возвышеніемъ и равниной на краю обширнаго, открытаго пространства, сплошь заставленнаго и заваленнаго камнями, плитами, обломками мраморовъ и остатками полуразрушенныхъ стѣнъ и сводовъ какихъ-то зданій, посреди которыхъ уцѣлѣвшія кое-гдѣ колонны возносили къ небу свои стройные столпы и гордыя капители.

Ивановъ остановилъ возницу, съ юношескою легкостью выпрыгнулъ изъ коляски и, не отводя самъ глазъ отъ развернувшагося передъ нами зрѣлища, широкимъ размахомъ руки послалъ туда же и мой взоръ.

— Смотрите,—сказалъ онъ, произнося съ разстановкой, отчетливо каждое слово:—эта площадь и эти развалины на ней—Forum Romanum; этотъ холмъ направо—Палатинъ; а стоимъ мы съ вами—у подножія Капитолія.

«Форумъ, Палатинъ, Капитолій»,—повторило во мнѣ какое-то внутреннее эхо и внезапно, словно пробужденныя отъ мертваго сна властью могучаго заклинанія, стали шевелиться и вставать сначала смутныя, потомъ все болѣе ясныя и опредѣленныя видѣнія,—образы людей и событій, связанныхъ въ памяти съ этими тремя священными именами... Форумъ, Палатинъ, Капитолій,—твердилъ я (громко, или про себя, не помню)—и въ воображеніи

воскресло и, подобно стаѣ облаковъ, пронеслось мимо меня все великое дѣйство, которое зачалось, въ продолженіе многихъ столѣтій разыгрывалось и получило свое завершеніе именно тутъ, на этихъ самыхъ холмахъ, въ этой самой лощинѣ, гдѣ теперь покоилось передо мною необозримое кладбище всей римской исторіи. Я смотрѣлъ и не вѣрилъ глазамъ своимъ.

Небо было ясное и синее; развалины дремали; слабый вѣтерокъ подувалъ мнѣ отъ нихъ въ лицо.

Не могу опредѣлить, сколько времени, молча и неподвижно, простоялъ я на мѣстѣ. Сердце, какъ предсказалъ Ивановъ, трепетало и ныло въ груди подъ прибоемъ набѣгавшихъ на него новыхъ, неиспытанныхъ никогда чувствъ; спутникъ же мой съ радостнымъ любопытствомъ слѣдилъ за мною, видимо наслаждаясь отражавшимся на моемъ лицѣ и предугаданнымъ имъ впечатлѣніемъ.

Когда я, наконецъ, очнулся, мнѣ захотѣлось прервать молчаніе, заговорить, высказаться; но словъ подходящихъ я не находилъ.

— Что эта за ворота?—спросилъ я, указывая на возвышавшуюся ближе всего другого арку Септимія Севера.

Ивановъ только рукой махнулъ.

— Не все ли вамъ равно въ эту минуту, какія это ворота! Узнаете и разглядите все потомъ, когда будете приходить сюда; а теперь довольно здѣсь стоять; поспѣшимъ туда, наверхъ, къ другимъ развалинамъ.

Мы опять усѣлись въ коляску, обогнули уголъ Форума и, проѣхавъ еще нѣсколько шаговъ въ сторону, остановились передъ воротами въ оградѣ, отдѣляющей городскую улицу отъ садовъ, окаймляющихъ Палатинъ. Въ воротахъ пропустили насъ сторожа, привѣтствовавшіе Иванова какъ добраго знакомаго.

— Старина только что развернула передъ нами свою необъятную ширь; теперь заглянемъ въ ея неизмѣримую глубь,—заговорилъ онъ, когда мы пошли по усыпанной пескомъ широкой дорожкѣ, мимо громоздившихся передъ нами на возвышеніи развалинъ дворцовъ Тиверія и Калигулы.

Общество туристовъ англичанъ,—дамъ, мужчинъ и дѣтей, опередивъ насъ, направилось подъ руководствомъ гида куда-то влѣво, по направленію къ террасѣ и углу, обращенному лицомъ къ Форуму.

Ивановъ повелъ меня въ противоположную сторону.

— Вопреки установленнымъ здѣшними проводниками правиламъ и обычаямъ,—сказалъ онъ,— мы съ вами не пойдемъ въ обходъ всего Палатина; я не стану вамъ показывать всѣ достопримѣчательности, описаніе которыхъ можете найти въ любомъ путеводителѣ. Мы проберемся прямо въ самый центръ холма; тамъ я васъ поставлю лицомъ къ лицу съ камнями и останками самой глубокой, самой мастистой древности.

Ивановъ пошелъ медленнѣе. Лицо его приняло сосредоточенное выраженіе богомольца, подходящаго къ святынямъ.

— Надъ мѣстами, по которымъ мы проходимъ и куда идемъ, витаютъ великія воспоминанія и великія тѣни,—обратился онъ ко мнѣ, окидывая взоромъ все окружающее насъ пространство,— Римляне чтили эти мѣста наравнѣ съ алтаремъ Весты, гдѣ горѣлъ неугасимый огонь, и съ водоемомъ, гдѣ послѣ побѣды надъ латинянами, на виду у всего римскаго народа, поили своихъ лошадей, принявшіе участіе въ битвѣ, Касторъ и Полуксъ. Въ память этого чудеснаго явленія близъ водоема воздвигнутъ братьямъ Діоскурамъ храмъ. И алтарь Весты, и этотъ храмъ вы найдете на Форумѣ; а вотъ тутъ—Ивановъ указалъ рукой на лежавшіе нѣсколько поодаль въ сторонѣ отъ дороги камни—былъ тоже нѣкогда алтарь—Ara Maxima. По преданіямъ, его воздвигъ самъ Геркулесъ, побѣдивъ какое-то зловредное чудовище, похищавшее стада окрестныхъ жителей. Долго потомъ на этомъ алтарѣ римскимъ народомъ послѣ побѣдъ и счастливыхъ событій приносились благодарственныя жертвы богамъ. Тотъ гротъ, что чернѣетъ сквозь эти кусты у подножія оврага—знаменитый Луперкалій, убѣжище пастуха Фаустула, гдѣ волчица вскормила своимъ молокомъ божественныхъ близнецовъ Ромула и Рема; а рядомъ съ гротомъ, тѣ каменныя обтесанныя глыбы, что торчатъ изъ горы и смотрятъ на насъ,—остатки Карментійскихъ воротъ, воспѣтыхъ Виргиліемъ въ стихахъ Энеиды, гдѣ онъ повѣствуетъ о происшедшемъ тутъ же свиданіи Леандра съ Энеемъ. Какъ видите, мѣста эти не совсѣмъ обыкновенныя и до-

стойны вашего вниманія. Довольно ли съ васъ, чтобы не только поддержать, но и возвысить то настроеніе, въ какое васъ привелъ видъ Форума?—

Свернувъ съ дороги, по которой мы шли, Ивановъ сталъ подниматься по крутой, полузаросшей кустарникомъ и обсыпавшейся подъ ногами тропѣ, ведущей прямо къ вершинѣ обрыва. Я послѣдовалъ за нимъ и мы скоро достигли небольшой, почти четырехугольной площадки, со всѣхъ сторонъ окруженной развалинами.

— Годы берутъ, однако, свое,—тяжело переводя духъ, произнесъ Ивановъ.—Недавно я еще поднимался сюда какъ ни въ чемъ не бывало, а сегодня, смотрите, какъ задохся, даже въ глазахъ потемнѣло. Надо отдохнуть...

Мы сѣли на мраморный обломокъ какого-то карниза у края площадки. Старикъ снялъ шляпу, отеръ платкомъ запотѣвшій лобъ и, понуривъ красиво разлохматившуюся сѣдую голову, погрузился въ раздумье, изрѣдка поднимая глаза на лежавшую передъ нами невысокую, ниже роста человѣческаго, но очень толстую стѣну изъ такихъ же, какъ Карментійскія ворота, тесанныхъ глыбъ сѣраго туфа.

— Не странно ли?—отдышавшись наконецъ, заговорилъ онъ,—вотъ я теперь сижу здѣсь и смотрю на эти камни, на этотъ остатокъ стѣны Квадратнаго Рима, сложенной въ незапамятныя времена какими-то невѣдомыми силачами, забравшимися на этотъ холмъ и устроившими здѣсь свое прочное обиталище... Сегодня живъ, сижу и смотрю, а завтра умеръ, и слѣда отъ меня не осталось.

Камни же эти, какъ лежали тутъ въ продолженіе тысячелѣтій, такъ пролежатъ и еще Богъ вѣсть сколько времени, быть можетъ, до скончанія вѣковъ. Казалось бы,—между мной и ими нѣтъ ничего общаго, нѣтъ никакой связи. Что̀ мнѣ до нихъ и что̀ имъ до меня! А между тѣмъ связь есть, да еще какая!—самая тѣсная; они мои лучшіе друзья и каждый разъ, когда я прихожу къ нимъ на свиданіе, на душѣ становится легко и хорошо. Вѣковѣчные старцы примиряютъ меня съ мыслью о мгновенности и мимолетности моего земного существованія.

Съ той самой минуты, когда мы вдвоемъ съ Ивановымъ остановились передъ Форумомъ, меня охватило и продолжало держать, словно въ тискахъ, чувство, вѣроятно, то самое, которое Пушкинъ называлъ «священнымъ ужасомъ». Отъ него замираетъ сердце, по тѣлу пробѣгаетъ холодокъ... Глядишь вокругъ себя, молчишь и блѣднѣешь. Я слушалъ Иванова съ напряженнымъ вниманіемъ и сознавалъ, что въ эти мгновенія и онъ, и я,—мы живемъ одною общею жизнью, что біеніе моего сердца онъ чувствуетъ такъ же внятно, какъ и я; что внутренняя эта близость для насъ обоихъ равно отрадна и дорога. Все, что говорилъ Ивановъ, сказалъ бы, кажется, я самъ, и только послѣднія его слова о примиреніи съ краткостью жизни мнѣ показались неожиданными. Я согласился бы съ противоположнымъ выводомъ: грусть, тревога, даже возмущеніе этой краткостью и, именно, передъ неподвижными вѣчными камнями, были бы для меня понятнѣе. Сегодня живъ,— завтра умеръ, а они тутъ будутъ

лежать вѣчно,—да вѣдь это несправедливо, это жестоко, это ужасно! Стоитъ ли послѣ того мыслить, чувствовать, къ чему-нибудь стремиться, приходить въ умиленіе и восторгъ! Стоитъ ли вообще жить!

Собесѣдникъ мой, когда я сталъ ему повѣрять мои мысли, утвердительно кивалъ головой, какъ будто зналъ заранѣе, что̀ я ему скажу, и имѣлъ уже на все готовый отвѣтъ.

Отвѣтъ этотъ, однако, былъ тоже не такой, какого я могъ ожидать. Я думалъ, что Ивановъ заспоритъ, начнетъ возражать; а онъ со мной согласился.

— Ну, что-жъ, — спокойно отозвался онъ, — и такое впечатлѣніе понятно; и оно хорошо. Порывъ грусти, возмущенія, даже отчаянія—такое же естественное, а, стало быть, такое же прекрасное движеніе души, какъ радость примиренія. Вспомните Тургеневскіе «Призраки», нѣкоторыя изъ его стихотвореній въ прозѣ и въ особенности «Довольно»; поэтическимъ языкомъ онъ выразилъ въ нихъ приблизительно то же, что̀ теперь говорите вы. Я совершенно съ Тургеневымъ не согласенъ, но это не мѣшаетъ мнѣ наслаждаться его жалобами и пенями, въ которыхъ такъ художественно отразилось глубоко безотрадное настроеніе его возвышенной души. И самъ онъ, какъ настоящій художникъ, конечно, тоже наслаждался и своею грустью, и своимъ отчаяньемъ.

Я опять внутренно подивился на цѣльность міросозерцанія Иванова. Для него во всемъ разнообразіи жизни существовало только одно явленіе, казавшееся ему достойнымъ вниманія,—художественная

красота. И съ этой точки зрѣнія онъ былъ правъ, взирая съ одинаковымъ сочувствіемъ на радость и горе, на улыбку и слезы, лишь бы выраженіе ихъ было красиво и вдохновенно.

Однако, по существу нашего разговора, я продолжалъ настаивать на своемъ. Для меня оставалось непонятнымъ, какъ это картина всеобщаго разрушенія можетъ мирить съ жизнью?

— Право, не знаю,—простодушно отвѣтилъ старикъ, — признаюсь вамъ, я до сихъ поръ никогда объ этомъ не разсуждалъ. Вы, какъ я вижу, охотникъ до разсужденій, вамъ непремѣнно подавай отчетъ въ каждомъ впечатлѣніи, въ каждомъ чувствѣ. Нужно ли это?

— Въ свою очередь скажу вамъ: не знаю, нужно или нѣтъ? Но я иначе не могу, такова моя природа. Мѣста, по которымъ мы съ вами только-что прошли, и камни, которые лежатъ теперь передъ нами, на меня дѣйствуютъ такъ, что я весь взволнованъ и, какъ говорится, самъ не свой; но это мнѣ не мѣшаетъ думать, провѣрять себя, сомнѣваться и спрашивать...

— Объ одномъ прошу васъ,—съ неожиданной рѣзкостью прервалъ меня Ивановъ,—не вздумайте меня спрашивать, точно ли я убѣжденъ въ исторической подлинности Геркулесовъ, Ромуловъ, Леандровъ и Энеевъ и могу ли поручиться головой за то, что все, о чемъ гласятъ древнія преданія, произошло въ дѣйствительности и на тѣхъ именно мѣстахъ, на которыя я вамъ указалъ. Предоставьте эти вопросы или, лучше сказать, эти допросы мни-

мымъ философамъ и ученымъ, находящимъ какое-то, непонятное для меня, геростратское удовольствіе закидывать грязью своего бездарнаго и бездушнаго скептицизма чистое золото народныхъ вѣрованій. Милліоны людей въ продолженіе вѣковъ рождались, жили и умирали въ этихъ вѣрованіяхъ— съ меня довольно, чтобъ они были столь же священны для меня, какъ и для нихъ. Вамъ это, повидимому, недостаточно...

— Да что̀ вы, что̀ вы,Николай Сергѣевичъ!—возразилъ я,—мнѣ и въ голову не приходило задавать вамъ подобные вопросы, а вошедшее теперь въ моду заподозрѣваніе и развѣнчиваніе исторіи и народныхъ преданій мнѣ такъ же противно, какъ и вамъ. Но мы говорили совсѣмъ о другомъ,—о чувствахъ, которыя возбуждаются въ насъ при видѣ развалинъ. Я просто ищу оправданія и объясненія этихъ чувствъ.

— Въ такомъ случаѣ, простите мою горячность. До старости дожилъ и не пріобрѣлъ способности сохранять хладнокровіе, когда мнѣ кажется, что оскорбляютъ мою святую святыхъ, то есть мое эстетическое чувство. Вы меня не на шутку напугали и я готовъ былъ уже раскаяться, что привелъ васъ сюда.

— О нѣтъ, нѣтъ, не раскаивайтесь, — горячо заговорилъ я, — о сегодняшнемъ днѣ я навсегда сохраню воспоминаніе, какъ объ одномъ изъ счастливѣйшихъ дней моей жизни, и этимъ счастьемъ я обязанъ никому другому, какъ вамъ.

— Ладно, ладно, — отмахнулся старикъ, видимо, взволнованный самъ, но стараясь принять равно-

душный видъ, — я тутъ не при чемъ. Благодарите вотъ этихъ моихъ старыхъ друзей; они успѣли пока только взглянуть вамъ въ глаза, и вы уже самъ не свой. Погодите, — почувствуете еще и не то, когда они съ вами заговорятъ, и вы научитесь понимать ихъ рѣчь. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: чего они, лежа тутъ, не навидались, не наслушались! Вѣдь передъ ними, вокругъ этой площадки смѣнились и оставили по себѣ слѣды всѣ періоды Римской исторіи. Здѣсь нѣкогда ютилась скромная пастушья хижина Ромула, благоговѣйно хранимая до временъ Константина, т. е. до торжества всеразрушающаго христіанства. Рядомъ вы видите остатки древнѣйшаго въ Римѣ храма Великой Матери Кибелы, остатки построекъ періода царей, и тутъ же воздвиглись потомъ всѣ эти гигантскіе дворцы, по манію обезумѣвшихъ отъ своего могущества и величія императоровъ. Пережили эти камни и царства, и республику, и имперію пережили нашествія всевозможныхъ варваровъ, и мало ли еще что! Послѣ этого, кто бы съ чѣмъ бы къ нимъ ни пришелъ — ихъ уже ничѣмъ не удивишь, ничѣмъ не испугаешь, не разгнѣваешь, не растрогаешь... Знаемъ!... Слыхали!.. Видали и не то! — лежатъ они себѣ, и въ этомъ ихъ безстрастномъ лежаніи, въ этомъ «видали, слыхали, знаемъ» — воля ваша, есть что-то глубоко успокоительное и примиряющее. Не думай о прошломъ, не загадывай о будущемъ, не гляди ни назадъ, ни впередъ. Все — и позади, и впереди — всегда сводилось и будетъ сводиться на нѣтъ. Мгновенное созданіе, живи

въ мгновеніи и въ немъ же обрѣтай и уловляй свое счастье,—вотъ таинственный смыслъ всего, что насъ съ вами здѣсь окружаетъ.

— Смыслъ дѣйствительно какъ будто и таковъ, — полусогласился я, — да усвоить-то его себѣ, согласовать съ нимъ жизнь не легко!

— Не легче и не труднѣе, чѣмъ увѣровать въ любую истину, или въ любое заблужденіе. Вѣра,— кто ее знаетъ, почему — иногда загорается въ душѣ, а затѣмъ вдругъ стынетъ и гаснетъ. То или другое воззрѣніе на жизнь, отношеніе къ ней, подобно вѣрѣ, дается само собой, безъ всякихъ усилій. Вы, какъ я уже сказалъ, склонны пускаться въ разсужденія. Зачѣмъ? Живите просто, какъ Богъ на душу положитъ. Я прожилъ такъ всю жизнь и потому-то у меня и есть что вспомнить и за что благодарить судьбу.

Ровный, наставительный голосъ, съ которымъ Ивановъ говорилъ, его устремленный на меня умный старческій взглядъ, наконецъ, послѣ произнесенія послѣднихъ словъ, дружеское прикосновеніе его руки къ моему плечу — все это вмѣстѣ внезапно представилось мнѣ повтореніемъ чего-то уже испытаннаго и пережитаго. Мысли мои унеслись далеко, далеко. Я вспомнилъ утро подъ Кіевомъ, вспомнилъ звонъ лаврскихъ колоколовъ и, какъ въ лѣсу на лежавшемъ при дорогѣ деревѣ, я сидѣлъ съ матерью Анной, внимая такимъ же спокойнымъ поученіямъ. Она говорила не то, что говорилъ Ивановъ, даже совсѣмъ противоположное. Я ей тогда повѣрилъ, я ее послушался, и вотъ, теперь..

— О чемъ такъ глубоко задумались? — перебилъ мои размышленія Ивановъ.

— Задумался о томъ, что мнѣ благодарить судьбу не за что̀. Она не дала мнѣ въ жизни ни одного мгновенія полнаго счастья.

— А мнѣ дала, — тихо, какъ бы про себя, отозвался старикъ и, помолчавъ немного, съ участливымъ сожалѣніемъ спросилъ: — неужели вы никогда не любили и не были любимы?

— И любилъ, и былъ любимымъ; но все это кончилось ничѣмъ...

— Вѣроятно, разсуждать стали?

Вопросъ этотъ меня нѣсколько раздражилъ.

— Вы, Николай Сергѣевичъ, все повторяете одно и то же. Жить безъ мысли, безсознательно... да какъ же это возможно?

— А вотъ какъ! — рѣшительно отвѣтилъ старикъ, — я вамъ это сейчасъ разскажу.

Онъ встряхнулъ волосами, устремилъ взглядъ куда-то вверхъ, какъ бы для того, чтобы ничего кругомъ не совалось ему подъ глаза и не мѣшало вспоминать,—и заговорилъ.

— Это было давно, лѣтъ тридцать тому назадъ. Я былъ въ Сициліи, въ Таорминѣ. Вы не знаете Таормину? Это — рай земной! Весь въ зелени полуостровокъ; съ одной стороны—Сицилійскія горы и снѣжная вершина Этны; кругомъ —синее, какъ бирюза, море, а на гребнѣ узкаго перешейка между двумя заливами — развалины; только не такія, какъ здѣсь, не хмурые, строгіе камни и стѣны, а живописныя руины древняго греческаго театра, цѣ-

лый лѣсъ колоннъ, легкихъ, стройныхъ, бѣлыхъ, какъ весталки, или какъ жрицы на картинѣ Бёклина, что, помните, выступаютъ изъ лѣсу и вереницей подходятъ къ алтарю. Вотъ, и бродилъ я однажды между этими колоннами по мраморнымъ плитамъ и ступенямъ театра, любуясь разставленными кругомъ самой природой декораціями горъ, моря и неба. Я уже вамъ сказалъ, что въ молодости у меня былъ голосъ; бродилъ я и громко распѣвалъ итальянскія пѣсни. Я ихъ зналъ тогда множество. Подойдя къ краю лѣстницы, я заглянулъ внизъ и увидѣлъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня сидящую на одной изъ ступеней дѣвушку, одѣтую въ траурное черное платье. Передъ ней, на установленномъ кое-какъ мольбертѣ, стояла рама съ натянутымъ полотномъ, а дѣвушка, откинувъ назадъ руку съ палитрой и кистями, поочередно взглядывала то на разстилавшійся передъ нею просторъ, то на свою работу. Я остановился, какъ вкопаный. Дѣвственно чистый, почти дѣтскій профиль, очертанія какъ бы изнемогающей подъ тяжестью густыхъ, темныхъ волосъ головы, широкія плечи и черное платье на свѣтломъ фонѣ солнечнаго неба, синяго моря и бѣлаго мрамора сразу врѣзались мнѣ въ память такъ, что и теперь я, кажется, могъ бы ихъ нарисовать. Долго не отрывалъ я глазъ отъ этого сильной, здоровой, красивой молодости. Дѣвушка почувствовала на себѣ мой взглядъ, обратила ко мнѣ голову и, увидавъ такъ близко отъ себя чужого человѣка, нѣсколько смутилась.

Я подошелъ, поклонился и, взглянувъ на ея работу, заговорилъ.

— Вы хорошо владѣете красками,—сказалъ я.

— А вы хорошо поете, — отвѣтила она и опять вскинула на меня глаза.

— Развѣ можно здѣсь нехорошо пѣть!—воскликнулъ я, ободренный взглядомъ.—Вы навѣрное сами чувствуете, какъ все кругомъ прекрасно; иначе вы не были бы здѣсь и не писали бы этого вида. Не только живой человѣкъ—камни здѣсь запѣли бы, если бы природа одарила ихъ голосомъ.

— Не голосомъ, а душой,—поправила меня дѣвушка,—поетъ душа.

Я не повѣрилъ ушамъ своимъ и переспросилъ:

— Что вы сказали?

— Я сказала, что поетъ не голосъ, а душа. Я давно знаю венеціанскую канцонетту, которую вы пропѣли «Maria-Mari»; но вы спѣли ее не совсѣмъ такъ, какъ поютъ ее у насъ въ Венеціи: вы вложили въ нее что-то свое, особенное; мнѣ даже показалось, что я ее слышу въ первый разъ и...

Дѣвушка примолкла.

— И что такъ пѣть ее не слѣдуетъ, — договорилъ я.

— О, нѣтъ, нѣтъ! совсѣмъ напротивъ; такъ-то именно и слѣдуетъ ее пѣть—пѣть всей душой. Когда я слушала, меня даже охватило чувство, будто поетъ пѣсню кто-то именно для меня... вѣдь меня зовутъ Мари.

Я подсѣлъ на лѣстницу къ ногамъ Мари и мы разговорились. Я узналъ, что она дочь недавно

умершаго художника, который хотя и не пріобрѣлъ широкой извѣстности, но былъ оцѣненъ и любимъ въ Венеціи, особенно въ кругу посѣщающихъ ее иностранцевъ. Мари была единственной его дочерью; онъ училъ ее живописи и непрестанно твердилъ: «люби искусство, люби все прекрасное; эта любовь дастъ тебѣ счастье». Онъ жилъ искусствомъ и для искусства, и Мари уродилась вся въ него.

— Для меня прекрасное не обстановка, не украшеніе жизни, а сама жизнь,—между прочимъ сказала она и добавила:—мать моя совсѣмъ внѣ всего этого; она занимается хозяйствомъ, но тоже добрая, хорошая и не только не противится моимъ наклонностямъ, но даже ихъ поощряетъ. Вотъ, и теперь—ей захотѣлось утѣшить меня въ горѣ послѣ кончины отца; она дала мнѣ денегъ и рѣшилась отпустить сюда одну, чтобы я могла осуществить давнишнюю мечту: увидѣть Неаполь и Сицилію и снимать здѣсь виды. Я уже успѣла написать ихъ нѣсколько. Хотите посмотрѣть? Пойдемте ко мнѣ, я вамъ ихъ покажу.

Сказано—сдѣлано. Мы тотчасъ же пошли въ городъ. По дорогѣ я успѣлъ разсказать Мари кое-что о себѣ. Всего болѣе удивило ее, что я русскій. Въ то время на нашихъ соотечественниковъ въ Италіи еще смотрѣли, какъ на рѣдкую диковину; а мое знаніе итальянскаго языка казалось Мари чѣмъ-то совсѣмъ чудодѣйственнымъ.—Russo, russo,—весело твердила она, съ откровеннымъ любопытствомъ разглядывая меня съ ногъ до головы и

предлагая рядъ самыхъ наивныхъ вопросовъ о Россіи и русской жизни.

Мы вошли въ Hôtel garni, гдѣ дѣвушка нанимала скромное помѣщеніе; она торопливо разставила свои картины по стульямъ и стѣнамъ противъ свѣта и отъ всей души радовалась моимъ похваламъ, которыя были совершенно искренни. Не говоря уже о томъ, что въ тогдашнемъ моемъ настроеніи все казалось мнѣ прекраснымъ и все нравилось, но картины моей новой знакомой дѣйствительно были хороши и отличались даровитой смѣлостью письма и самостоятельностью въ выборѣ сюжетовъ. Среди пейзажей, которые показала мнѣ Мари, не нашлось ни одного, воспроизводящаго всѣмъ надоѣвшіе виды и панорамы южной Италіи, продаваемые во всѣхъ лавкахъ и обязательно покупаемые туристами. Болѣе всѣхъ другихъ мнѣ полюбилось небольшое полотно, на которомъ былъ изображенъ дикій уголокъ лѣса, или запущеннаго парка на полугорѣ, съ широкимъ между деревьями просвѣтомъ, гдѣ съ одной стороны уголъ развалины и бѣлая колонка выглядывали изъ-за темной листвы косматаго дерева, а съ другой простиралось море, подъ багровой полосой вечерней зари.

— Если этотъ видъ вамъ такъ нравится,—сказала дѣвушка,—мы можемъ пойти посмотрѣть его въ натурѣ. До него отсюда очень недалеко, и вы увидите, что онъ во сто кратъ прекраснѣе, чѣмъ я сумѣла его написать.

— Что же мѣшаетъ намъ тотчасъ же туда пойти? Пойдемте,—предложилъ я.

— Пойдемте.

И мы отправились.

Проходя мимо ресторана, гдѣ на открытомъ воздухѣ за деревянными столами сидѣло нѣсколько обѣдавшихъ посѣтителей, мы вспомнили, что и намъ не мѣшало бы чего-нибудь поѣсть.

Мы вошли, наскоро утолили голодъ и, собираясь уходить, стали расплачиваться. Мари не позволила мнѣ расплатиться за нее, достала изъ кармана кошелекъ, и мнѣ было очень забавно смотрѣть, какъ она своими пухлыми пальчиками какъ-то неумѣло и неловко вынимала деньги и раскладывала ихъ для счета на столѣ. Замѣтивъ улыбку, съ которою я слѣдилъ за этой довольно продолжительной возней, она сдѣлала брезгливую гримасу и промолвила:

— Терпѣть не могу денегъ—не умѣю ихъ считать, всегда просчитываюсь и очень часто теряю. Мать меня журитъ, но это не помогаетъ...

И, какъ бы въ подтвержденіе только-что сказанныхъ словъ, одна изъ монетъ выскользнула изъ рукъ Мари и покатилась по полу. Я поднялъ ее и подалъ дѣвушкѣ. Она поблагодарила меня и, тщательно укладывая монету въ особенное отдѣленіе кошелька, сказала:

— Эту лиру я буду беречь, она будетъ напоминать мнѣ о сегодняшнемъ днѣ и о нашей встрѣчѣ съ вами.

Я взялъ у дѣвушки руку, поднесъ ее къ губамъ и съ благодарнымъ взглядомъ сталъ ее цѣловать.

Мари, не отнимая руки, покраснѣла, потупила глаза — и вдругъ, въ это мгновеніе, я почувствовалъ, что въ образѣ Мари воплотился передо мною юный, свѣтлый, чистый идеалъ художественной женской красоты, что она внезапно стала для меня дороже всего на свѣтѣ и что дѣвушка чувствуетъ ко мнѣ то же, что я чувствую къ ней.

Если бы мы съ Мари стали тогда разсуждать, наша любовь, вѣроятно, кончилась бы ничѣмъ; но мы не разсуждали, мы повѣрили нашему чувству, и оно насъ не обмануло.

Выйдя изъ ресторана, Мари спросила, захочу ли я сдѣлать ей удовольствіе и спою ли ей опять что-нибудь, когда мы придемъ на излюбленное нами мѣсто?

— Въ такомъ случаѣ, — сказалъ я, — позвольте мнѣ забѣжать въ гостиницу, гдѣ я остановился въ двухъ шагахъ отсюда, и захватить свою гитару; съ нею мнѣ легче и лучше будетъ пѣться.

Нѣсколько минутъ спустя мы опять соединились и пошли горной тропинкой мимо развалинъ.

Весь остатокъ дня мы провели съ Мари вмѣстѣ. Уголокъ, изображенный ею на картинѣ, оказался уютнымъ и прохладнымъ. Я бросилъ на землю плащъ; сидя на немъ, мы долго любовались красотою вида, сравнивали его освѣщеніе съ тѣмъ, которое было изображено на картинѣ, болтали безъ умолку. Я пѣлъ итальянскія и русскія пѣсни; а гдѣ-то за уступомъ горы около моря, отъ времени до времени, раздавалось еще другое, чье-то отдаленное пѣніе, такъ что, когда я умолкалъ, въ во-

дворявшейся тишинѣ мы прислушивались къ чуть внятнымъ, слабымъ его переливамъ, и вспоминалось мнѣ, какъ въ курской деревнѣ, въ майскіе вечера, перекликались и слушали другъ друга влюбленные соловьи.

Вечеръ догоралъ. Солнце ушло за горы. Отблескъ зари, долго румянившій морскую гладь, тоже сталъ блѣднѣть и кругомъ насъ потемнѣло.

— Поздно,—съ глубокимъ вздохомъ произнесла Мари,—сейчасъ наступитъ ночь... А какъ мнѣ не хочется еще уходить отсюда!

— Кто же насъ торопитъ? побудемъ вмѣстѣ,— сказалъ я.

— Да, да, побудемъ вмѣстѣ,—обрадовалась Мари,— спойте мнѣ еще разъ мою милую венеціанскую канцонетту; теперь ужъ мнѣ не покажется только, а я навѣрное буду знать, что вы поете ее для меня.

И я спѣлъ канцонетту для Мари—для нея одной; спѣлъ такъ, какъ никогда въ жизни еще не пѣвалъ! Я созналъ вдругъ въ себѣ силу какого-то Орфея, я чувствовалъ полную, безграничную мою власть и надъ вылетавшею изъ груди пѣсней, и надъ всѣмъ, что меня окружало и слушало. Я былъ властелиномъ не только каждаго звука пѣсни, каждаго моего слова, но и трепета внимавшаго мнѣ сердца; а въ пѣснѣ выливалась вся моя душа, вся моя любовь— и когда послѣдній, страстный призывъ разнесся и смолкъ въ тишинѣ, деревья придвинули ближе къ намъ свои ревнивыя тѣни, воздухъ окрестный замеръ, море остановило прибой, небо, словно хме-

лемъ, стало обсыпать насъ дождемъ падающихъ звѣздъ и Мари, неподвижно, съ затаеннымъ дыханіемъ дослушавъ меня до конца, вдругъ наклонилась ко мнѣ, крѣпко обняла мнѣ шею рукой и, уставивъ глаза въ мои глаза, прошептала:

— Послушай... мнѣ хорошо... намъ обоимъ хорошо! Я хочу, чтобы эта ночь стала единственной въ моей и твоей жизни, чтобы въ ней слились всѣ радости, все небесное и земное блаженство, какое намъ судьбою предназначено когда-нибудь испытать. Ты спѣлъ пѣсню нашего счастія, нашей любви; ты позвалъ меня—я отдаюсь тебѣ... возьми меня...

И, зарыдавъ, она упала ко мнѣ на грудь.

Ивановъ всталъ. Я видѣлъ, что слезы подступили къ его глазамъ; но онъ отвернулся отъ меня, прошелъ нѣсколько шаговъ по площадкѣ, дотронулся рукою до камней, какъ бы желая удостовѣриться, что они лежатъ на мѣстѣ, и, овладѣвъ наконецъ собой, опять приблизился ко мнѣ.

— Вы, можетъ быть, думаете, что это былъ безсмысленный, безумный порывъ страсти, что, очнувшись, мы пришли отъ него въ ужасъ, или что наша любовь кончилась, какъ кончается она обыкновенно,—охлажденіемъ, омраченіемъ, раскаяніемъ. Все это могло случиться, если бы Мари и я до конца не остались вѣрны себѣ и не послушались голоса нашей чистой, прекрасной любви. Она дала намъ счастье, она же и спасла отъ горя постепенной и неизбѣжной его утраты.

Гдѣ-то въ городѣ часы пробили полночь.

— Пора домой,—сказала Мари, и, обнявъ меня на прощанье, безъ всякаго колебанія, твердо проговорила; не правда ли, мы никогда больше не увидимся, никогда, никогда!—и, догадавшись по моему молчанію, что я не сразу понялъ всю правду, всю глубину чувства, подсказавшаго ей это рѣшеніе, она убѣжденно, съ жаромъ залепетала:

— Развѣ такое счастье, какъ наше съ тобой, можетъ продлиться, повториться? Оно, быть можетъ, убьетъ меня, и я должна буду отъ него умереть; но до послѣдней минуты моей жизни ты будешь свѣтиться въ моихъ глазахъ такимъ, какимъ ты былъ сейчасъ, когда пѣлъ мою пѣсню. Другимъ, завтрашнимъ я не хочу тебя видѣть, не хочу тебя знать! И ты долженъ помнить и любить меня только тою, какою я была въ эту ночь, когда отдалась тебѣ. Всмотрись же пристально въ меня, въ каждую черту моего лица; ты и въ темнотѣ долженъ видѣть, какъ оно сіяетъ счастіемъ! А потомъ—не удерживай, не слѣдуй за мною. Я ухожу... благодарю тебя... Прощай... Ты меня никогда и нигдѣ больше не увидишь.

И съ этими словами, высвободившись изъ моихъ объятій, Мари оттолкнула меня отъ себя и скрылась въ ночной темнотѣ.

Ивановъ умолкъ.

— И все?— спросилъ я.

— Все,—отвѣтилъ Ивановъ.

— И вы дѣйствительно потомъ никогда не встрѣтились?

— Никогда.

— У васъ даже не осталось ничего на память отъ этой любви?

— Ничего... развѣ только гитара, которую вы видѣли у меня. До сихъ поръ изрѣдка, когда затоскую, или мнѣ взгрустнется, я перебираю ея струны и разбитымъ голосомъ напѣваю: Maria-Mari.

— Но вамъ вѣдь тогда тяжело, вамъ больно, вамъ хочется плакать?..

— И хочется плакать, и я плачу; но то̀ не тяжелыя, болѣзненныя слезы сожалѣнія, а отрадныя, сладкія слезы умиленія и благодарности.

Я взглянулъ на старика, и во всѣхъ чертахъ его лица свѣтилась такая ясная радость, что мнѣ даже завидно стало, и я не могъ воздержаться отъ восклицанія:

— Гдѣ же мнѣ, Николай Сергѣевичъ, съ вами тягаться—вы мудрецъ!

— Какая это мудрость!—нетерпѣливо возразилъ Ивановъ.—Вся мудрость человѣческая гроша мѣднаго не стоитъ... Чувство, чувство, дорогой мой другъ, а не мудрость. Какъ можно меньше мудрствовать, какъ можно больше чувствовать,—въ этомъ вся тайна человѣческаго счастья.

На противоположной сторонѣ площадки въ это время показалась, ранѣе уже встрѣченная нами, компанія англичанъ.

— Пойдемте,—увидавъ ее, сказалъ Ивановъ.

Мы спустились по той же тропинкѣ, по которой поднялись, и молча, не обмѣнявшись другъ съ другомъ ни однимъ словомъ, возвратились къ входнымъ воротамъ.

IX.

Утро въ Ватиканѣ, встрѣча съ Ивановымъ, посѣщеніе Форума и Палатина,—словомъ, все видѣнное и слышанное мною въ этотъ день закидало меня такимъ обиліемъ впечатлѣній, что мнѣ казалось—бо̀льшаго отъ щедрой судьбы я и требовать не могъ; но Ивановъ, несмотря на утомленіе, не захотѣлъ и слушать, когда я предложилъ ему вернуться домой.

— Солнце еще высоко, я вамъ долженъ показать теперь Римъ во всемъ его величіи и красотѣ,— рѣшилъ онъ.—Вѣдь вы его видѣли до сихъ поръ только съ Монте-Пинчіо, ежедневно посѣщаемаго господиномъ Кудряшовымъ; стало быть, вы его вовсе не видали. Я сейчасъ васъ повезу на другое мѣсто.

И когда я, изъ боязни переутомить старика, замѣтилъ, что поѣздку можно бы отложить до другого раза, Ивановъ даже разсердился.

— Отложить до другого раза? да ни за что на свѣтѣ!—воскликнулъ онъ.—Ничего никогда не надо откладывать; что̀ отложено—то потеряно.

— Почему же?—усомнился я.

— А потому, что теперешнее настроеніе наше пройдетъ и не вернется, потому, что глаза ваши и мои уже не будутъ горѣть такъ, какъ они горятъ теперь, потому что въ другой разъ я, можетъ быть, кромѣ банальностей и глупостей ничего не скажу; а сегодня сама душа моя съ вами

говоритъ. У меня, старика, въ жизни одна осталась высокая, чистая радость — возбуждать въ молодыхъ, отзывчивыхъ сердцахъ тѣ же чувства, которыя нѣкогда пылали во мнѣ и до сихъ поръ еще не потухли,—возбуждать ихъ и безкорыстно ими любоваться. За что же вы хотите у меня отнять эту радость? Нѣтъ,-нѣтъ, не будемте тратить времени на пустые разговоры, садитесь и— ѣдемъ!

Онъ толкнулъ меня въ подъѣхавшую къ воротамъ коляску, скомандовалъ возницѣ—S.-Pietro in Montorio—и мы опять помчались, какъ закутившіе юноши, доканчивать нашъ свѣтлый праздникъ, нашъ душевный художественный пиръ.

О, какъ Ивановъ былъ правъ и какъ я ему благодаренъ за то, что, по его настоянію, мы завершили тотъ памятный, никогда потомъ не повторившійся для меня день, поѣздкою къ S.-Pietro in Montorio! Посѣщеніе Форума и Палатина было вступленіемъ моимъ въ римскій міръ, вступленіемъ именно тою дверью, которая одна могла привести меня къ истинному его познанію и пониманію. Видѣніе, представшее предо мною съ вершины холма, куда привезъ меня Ивановъ, раскрыло всю необъятность, все безсмертіе этого міра. Имѣя весь Римъ передъ собою, Ивановъ, хоть и бѣгло, но разомъ провелъ меня по Риму изъ конца въ конецъ, объясняя смыслъ и значеніе наиболѣе выдающихся памятниковъ, зданій и мѣстъ; и когда я понялъ и пришелъ въ восторгъ отъ неисчерпаемаго обилія предстоящихъ мнѣ ду-

ховныхъ наслажденій при посѣщеніи и изученіи всѣхъ этихъ святынь, чудесъ и сокровищъ Вѣчнаго города—старикъ въ заключеніе своихъ словъ воскликнулъ:

— Какъ же не любить жизнь, когда она такъ богата! Какъ не мириться съ ея краткостью, когда однимъ мгновеннымъ взглядомъ можно обнять столько величія и столько красоты! Какъ можно при видѣ Рима думать, что человѣческое существованіе безплодно и не нужно! Все, что мы видимъ отсюда, создали люди, создало человѣчество, и никогда я не повѣрю, чтобы оно окончательно погрязло и погибло въ холодѣ и мракѣ, куда завела его одичалая современность. Быть этого не можетъ! Тургеневъ сказалъ, что Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права и принциповъ 89 года. Не пожалуй, а навѣрное. Пусть, по Тургеневскому же выраженію, палица варвара дробитъ лучезарное чело Аполлона; но не раздробитъ она и не погаситъ ту божественную искру въ человѣкѣ, которая изъ бездушнаго камня творитъ безсмертное божество. Надоѣстъ же наконецъ людямъ пресмыкаться, какъ червямъ по землѣ; затоскуютъ они въ нищетѣ духовной, въ дыму, смрадѣ и шумѣ своихъ темницъ, казармъ, фабрикъ и машинъ, въ грязи своего золота и разврата. Рухнетъ вавилонское столпотвореніе — и тогда на нашей улицѣ будетъ праздникъ. Ни вы, ни я подавно, не доживемъ до этого времени; но въ томъ-то и состоитъ смыслъ нашей жизни, нашего служенія единому истинному Богу, чтобы поддерживать и хранить въ сердцахъ хотя бы не-

многихъ избранниковъ, тлѣющій въ нихъ, священный огонь. Въ свой день и часъ онъ вспыхнетъ съ новой силой, и побѣгутъ отъ него по всей землѣ лучи будущаго возрожденія, которое очиститъ и спасетъ человѣчество. Я завѣщаю вамъ мою вѣру въ непобѣдимую силу искусства и красоты; я передаю вамъ служеніе имъ. Пусть будетъ оно цѣлью и дѣломъ всей вашей жизни, чтобы, достигнувъ моего возраста и стоя, какъ я теперь, у дверей гроба, вы могли себѣ сказать, что прожили вѣкъ свой не даромъ.

X.

На этомъ словѣ, на этомъ завѣщаніи Иванова я и кончаю третью тетрадь моихъ записокъ, дополнивъ ее только печальною вѣстью, что съ воспоминаніемъ о неожиданно мнѣ посланномъ судьбою другѣ и наставникѣ связано было, увы! только первое посѣщеніе мною Рима. Годъ спустя, когда я туда вернулся, Иванова уже не было въ живыхъ.

По разсказамъ Луиджи, котораго я отыскалъ, краткій, безболѣзненный недугъ свелъ старика въ могилу, и встрѣтилъ онъ смерть съ тою же спокойной, ясной улыбкой, съ какою смотрѣлъ всегда на природу, на красоту и на жизнь.

Въ продолженіе нашего знакомства съ вами вы, какъ мнѣ кажется, могли убѣдиться, что во многомъ я до сихъ поръ, по прошествіи немалаго числа лѣтъ, остался вѣрнымъ послѣдователемъ и учени-

комъ Иванова. Мятущаяся вокругъ меня жизнь, вся современность и въ особенности политика потеряли въ моихъ глазахъ всякую цѣну и значеніе. Я всей душой предался искусству, поэзіи, памятникамъ старины; я стараюсь, по мѣрѣ возможности, пробуждать вниманіе и любовь къ нимъ въ тѣхъ людяхъ, въ которыхъ хоть изрѣдка встрѣчаю откликъ и сочувствіе.

Вы спросите: а что же мое личное счастіе? что же вѣра въ чудотворную силу чувства? что же повѣсть любви Иванова въ Таорминѣ? — Неужели все это пролетѣло, какъ говорится, мимо ушей, пропало безслѣдно и ничѣмъ не отразилось на моей собственной дальнѣйшей судьбѣ?

Если вы не полѣнились прочесть три первыя тетради, имѣйте терпѣніе дочитать четвертую и послѣднюю; изъ нея вы узнаете, что и съ этой стороны краткая дружба моя съ Ивановымъ оставила въ душѣ моей глубокій слѣдъ и, по всей вѣроятности, открыла бы мнѣ дверь къ обѣщанному имъ счастью, еслибы... еслибы и я, подобно Иванову и Мари, не остался вѣренъ себѣ до конца и не оправдалъ на себѣ пословицы: каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилкѣ.

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Послѣдняя даль.

I.

Въ жизни иногда пролетаютъ событія, подобныя облакамъ или сновидѣніямъ. Внезапно и молча появляются они, приближаются со сказочной быстротой, окутываютъ туманомъ, окружаютъ роемъ волшебныхъ образовъ и потомъ вдругъ, не простясь, съ такою же поспѣшностью убѣгаютъ прочь и скрываются въ предѣлъ минувшаго и невозвратнаго.

Откуда и зачѣмъ возникаютъ эти мимолетные образы? Куда исчезаютъ?—Нѣтъ отвѣта! Можно, пожалуй, подумать, что сама всемогущая владычица-судьба, наскучивъ строго послѣдовательнымъ, безучастнымъ своимъ господствомъ надъ вселенной, затѣваетъ порою, на потѣху себѣ, игру съ людьми,

морочитъ ихъ подобіемъ чувствъ и страстей, призраками счастья и горя, возводитъ, въ погонѣ за привидѣніями, къ заоблачнымъ вершинамъ, низвергаетъ въ пропасти и затѣмъ, натѣшившись вдоволь и разсѣявъ мановеніемъ чудодѣйственнаго жезла ею же самою созданные обманы, говоритъ: «Образумьтесь! Развѣ вы не видите, что все это одно навожденіе? Въ дѣйствительности нѣтъ ничего... забудьте шутку, ступайте своей дорогой».

Въ большинствѣ случаевъ тѣмъ дѣло и кончается; послѣ краткаго перерыва дѣйствительность вступаетъ въ свои прежнія права.

Но иногда шутка, разыгранная судьбою, оставляетъ по себѣ такой глубокій слѣдъ, такое опустошеніе, такую отраву воспоминаній, что душа отказывается признать все пережитое ею за простое навожденіе и, напротивъ, послѣдующее существованіе теряетъ для нея всякій смыслъ и становится какъ бы призрачнымъ и безцѣльнымъ. И тогда возникаетъ обратный вопросъ: точно ли это была шутка, и не сверкнулъ ли душѣ въ мимолетномъ сновидѣніи лучъ изъ далекаго царства истинной красоты и безусловнаго счастья, передъ которымъ,—проявись онъ только во всей силѣ и полнотѣ,—мгновенно и навсегда погасъ бы и умолкъ ненужный бредъ, принимаемый за дѣйствительность? Впрочемъ, не стану философствовать. Разскажу лучше, какъ постигло и меня подобное навожденіе и какъ оно тѣсно было связано съ моимъ пристрастіемъ къ искусству вообще и къ музыкѣ Вагнера въ особенности.

Художественное творчество, произведенія человѣческаго генія въ поэзіи, въ живописи и болѣе всего въ музыкѣ, таинственно сливаясь съ внутренней жизнью души, затрогиваютъ и заставляютъ трепетать въ ней тончайшія, сокровеннѣйшія ея струны. Въ хорѣ случайной, безразличной толпы, родственныя сердца одновременно вспыхиваютъ однимъ и тѣмъ же пламенемъ, другъ другу вѣсть подаютъ, другъ друга взаимно манятъ и призываютъ къ единенію въ общемъ порывѣ вдохновенія и любви, и тогда-то раскрывается иногда такой лучезарный міръ красоты, радости и счастья, что, при созерцаніи его, духъ захватываетъ. Мнѣ хочется подвести васъ теперь къ рубежу этого міра, показать вамъ и эту даль...

Навожденіе, о которомъ я только что упомянулъ, постигло меня въ тотъ самый годъ, начало котораго я провелъ съ вами въ Петербургѣ. Не успѣлъ я, разставшись съ вами, доѣхать до Италіи, какъ получилъ въ дорогѣ извѣстіе о внезапной кончинѣ матери; а въ Москвѣ, куда я тотчасъ вернулся, узналъ я, что и Матреша покончила свое земное существованіе. Она умерла нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ въ Дивѣевской пустынѣ, близъ Сарова, принявъ подъ конецъ жизни монашеское постриженіе.

Въ знойные лѣтніе дни набѣгаютъ иногда на небо едва замѣтныя облачка, разражаются двумя-тремя молніями, спалятъ какую-нибудь избу, или даже цѣлую деревушку и потомъ разсѣиваются безслѣдно. Кончина матери и вѣсть о смерти Ма-

треши поразили меня, какъ неожиданные удары грома посреди безоблачнаго неба. Не стану вамъ описывать моего двойного горя. Горе о потери матери, остававшейся до конца жизни самымъ близкимъ мнѣ существомъ, вполнѣ понятно; но острая, жгучая боль, которую я ощутилъ, когда мнѣ сказали, что не стало Матреши, — давно и заживо какъ бы для меня умершей, — меня удивила и доказала мнѣ, что любовь безсознательно продолжаетъ жить въ сердцѣ даже и тогда, когда, повидимому, давно все кончено и забыто. Я почувствовалъ, что догорѣла какая-то, издалека освѣщавшая меня заря, что отлетѣлъ отъ души какой-то невидимый ангелъ-хранитель—и стало мнѣ вдругъ холодно и неповадно жить на свѣтѣ, въ особенности въ Россіи. Въ ней не оставалось у меня ничего кромѣ воспоминаній пробуждавшихся во мнѣ съ особенной силой при видѣ унаслѣдованнаго мною отъ матери московскаго домика. Другой на моемъ мѣстѣ, именно потому и сталъ бы еще болѣе дорожить этимъ домикомъ, какъ дорожатъ памятникомъ надъ родительской могилой; а я почувствовалъ неодолимую потребность бросить и его, чтобы навсегда оторваться отъ берега и даже лишить себя возможности когда-либо вновь къ нему пристать. Имѣніе я продалъ уже нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ; нашлись покупатели на домъ, и я его тоже продалъ. Впрочемъ, не думайте, что я это сдѣлалъ съ легкимъ сердцемъ безъ внутренняго болѣзненнаго спора съ чувствомъ привязанности не столько къ родному гнѣзду, сколько къ связанному съ нимъ

прошлому. Душа человѣческая соткана изъ противорѣчій и непослѣдовательностей, сливающихся въ одно сложное и мудреное цѣлое, называемое жизнью. При постепенно разгоравшейся во мнѣ жаждѣ безграничной свободы, чувство привязанности къ какому-либо жилью, къ какому-либо мѣсту, меня тяготило, какъ послѣдняя цѣпь, какъ послѣдняя помѣха къ выходу на вольную волю; но часъ разставанія все-таки былъ тяжелымъ часомъ въ моей жизни, и когда онъ насталъ, я прежде чѣмъ въ послѣдній разъ переступить домашній порогъ, на мгновеніе остановился и слезы навернулись мнѣ на глаза. Строго и пристально глядѣли на меня покидаемыя мною комнаты, стѣны и стоявшіе въ нихъ на своихъ мѣстахъ предметы. — Навсегда! — шептали они въ отвѣтъ на мой прощальный взоръ. — Навсегда! — отозвалось въ моемъ сердцѣ, и долго потомъ, въ продолженіе всего пути изъ Москвы за границу, куда я направился, слышалось мнѣ это, прерывавшее другія мысли слово — навсегда. Съ отзвукомъ его въ душѣ я и пріѣхалъ тогда въ Парижъ, будучи увѣренъ, что крикливая суета бульвара разомъ заглушитъ во мнѣ тихую жалобу разлуки съ мирнымъ домикомъ московскаго переулка.

Такъ это и вышло.

Одно только было для меня неожиданно: Парижъ съ перваго же моего знакомства съ нимъ, еще въ ранней молодости, какъ самое полное, самое яркое воплощеніе современности и, стало быть, искусственности, всегда претилъ моей первобытной природѣ вольнолюбиваго кочевника. Въ Парижѣ при-

влекаютъ меня и до сихъ поръ только художественныя сокровища его музеевъ, къ которымъ я отъ времени до времени испытываю потребность приходить на поклоненіе. Полюбовавшись ими, я всегда тороплюсь вонъ, къ горамъ, къ лѣсу, къ морю, къ развалинамъ старины, смотря по тому, что̀ въ данное время привѣтливѣе и любовнѣе манитъ къ себѣ мое воображеніе. Но въ этотъ разъ, когда, обозрѣвъ по обыкновенію музеи Лувра, Люксенбурга и Клюни, я вернулся въ гостиницу и въ головѣ моей возникъ привычный вопросъ: куда теперь ѣхать? — я къ изумленію моему почувствовалъ, что меня никуда не тянетъ. Не усталость — о нѣтъ! (болѣе чѣмъ когда-либо въ обладаніи завоеванной мною свободой я сознавалъ себя нравственно и тѣлесно бодрымъ и здоровымъ), — а какое-то странное, не испытанное до того времени желаніе притихнуть, сосредоточиться въ себѣ самомъ, остаться нѣкоторое время на одномъ мѣстѣ, безъ движенія, какъ бы выжидая кого, овладѣло моимъ существомъ. И въ этомъ ничѣмъ необъяснимомъ желаніи, — вспоминая теперь все происшедшее въ описываемое время, — я вижу относительно себя первое проявленіе, первый пріемъ того игранія судьбы съ человѣкомъ, о которомъ упомянулъ выше. Чья-то таинственная власть, стеревъ послѣдніе слѣды минувшаго и навѣявъ на меня неподвижность и тишину, тѣмъ самымъ подготовляла душу къ воспріятію чего-то неожиданнаго и необычайнаго. Изъ невѣдомаго далека ко мнѣ приближался, на меня налеталъ еще невидимый и даже

нечаемый мною, но уже неотразимый призракъ новой любви и передъ нимъ-то, какъ толпа рабовъ, заслышавшая поступь властелина, все другое, житейское, мелкое сторонилось и разступалось въ почтительномъ преклоненіи и безмолвіи.

II.

— Здравствуйте, Погостовъ, — услыхалъ я за собой чей-то мало знакомый голосъ, когда, недѣлю спустя послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, во время предполуденной прогулки по городу, я задержался на углу тротуара, пропуская мимо себя по улицѣ одинъ изъ тѣхъ набитыхъ народомъ омнибусовъ,— грузныхъ, съ громадными колесами и торчащимъ на вышкѣ козелъ возницею,—видъ и стукъ которыхъ всегда наводятъ на меня ужасъ. Въ то же время чья-то рука, довольно безцеремонно взяла меня за плечо.

«Соотечественникъ!»—мелькнула въ головѣ моей непріятная мысль и я, нехотя, обернулся. За спиной моей во все лицо улыбался нѣкій русскій генералъ въ штатскомъ платьѣ,—Василій Семеновичъ Пахтуровъ. Почти ежегодно встрѣчался я съ этимъ генераломъ гдѣ-нибудь за границей—въ Парижѣ, въ Швейцаріи, на водахъ и даже одинъ разъ въ Римѣ,—причемъ онъ всегда одинаково изъявлялъ нѣсколько шумную радость, зазывалъ меня къ себѣ, увлекалъ завтракать и обѣдать въ рестораны и за бутылкой добраго бордо, до котораго былъ большой охотникъ, съ удоволь-

ствіемъ повѣствовалъ о добромъ старомъ времени и съ неподдѣльнымъ любопытствомъ слушалъ мои путевые разсказы. О Пàхтуровѣ я зналъ только, что онъ былъ вдовецъ и имѣлъ дочь, вышедшую замужъ за какого-то польскаго графа и жившую съ семействомъ въ Варшавѣ; самъ же генералъ служилъ въ Петербургѣ въ военномъ совѣтѣ, куда былъ назначенъ послѣ продолжительной службы въ высшей военной администраціи Привислинскаго края. Въ прежнія мои съ нимъ встрѣчи, Пàхтуровъ былъ всегда одинъ. Теперь рядомъ съ нимъ стояла незнакомая мнѣ молодая женщина.

— Узнали?... не слишкомъ я постарѣлъ?—съ оттѣнкомъ привычнаго командованія спросилъ генералъ.

Мы пожали другъ другу руку.

— Дочь моя, графиня Броневская, — назвалъ Пàхтуровъ сопутствовавшую ему даму. Та слегка кивнула мнѣ головой и обратила укоризненный, какъ мнѣ показалось, взглядъ на отца, спрашивая его этимъ взглядомъ, для чего остановка и представленіе на улицѣ?

Мнѣ стало почему-то непріятно, что эта молодая женщина своими быстро мѣняющими выраженіе, то потупленными, то кидающими тихіе лучи глазами, такъ взглянула на отца. Отъ ея свѣжаго, нѣсколько загорѣлаго лица, отъ всего ея нѣжнаго облика, ласково прислоненнаго къ плечу старика, какъ отъ полевыхъ, только что нарванныхъ цвѣтовъ, внесенныхъ въ душную городскую гостиную, внезапно повѣяло на парижскомъ асфальтѣ

чѣмъ-то очень далекимъ и очень знакомымъ, напомнившимъ мнѣ вешнее утро въ русской деревнѣ, когда трава сверкаетъ росой и надъ полями заливаются жаворонки. —Зачѣмъ она меня чуждается? Вѣдь мы съ ней совсѣмъ родные,—почувствовалось мнѣ. А генералъ продолжалъ между тѣмъ закидывать меня вопросами, на которые я даже не успѣвалъ отвѣчать: откуда? куда? гдѣ остановился въ Парижѣ? долго ли думаю пробыть?—На послѣдній вопросъ, часто предлагаемый встрѣчающимися за границей знакомыми, я имѣю обыкновеніе отвѣчать, что уѣзжаю въ тотъ же или на слѣдующій день. По привычкѣ приготовился я отвѣтить то же самое и Пахтурову, но, Богъ вѣсть почему, или лучше сказать подъ вліяніемъ все той же таинственной власти, съ языка моего сорвалось совсѣмъ другое, и я сказалъ, что торопиться мнѣ некуда и что, вѣроятно, я пробуду въ Парижѣ еще нѣкоторое время.

— Вотъ и прекрасно!—просіявъ отъ удовольствія, воскликнулъ генералъ. — Мы тоже собираемся здѣсь еще пожить. Будемъ часто видаться, не правда ли?

— Папа,—очевидно теряя терпѣніе и слегка дергая отца за рукавъ, прервала графиня,—намъ пора домой, мужъ ждетъ къ завтраку.

— Эка важность!—добродушно вспылилъ генералъ.—Ну и пусть ждетъ твой мужъ... не чужой человѣкъ и не на морозѣ! А я очень, очень радъ, что васъ встрѣтилъ, — обратился онъ снова ко мнѣ. — Надѣюсь, что, не откладывая въ долгій

ящикъ, вы сегодня же придете къ намъ въ пять часовъ чай пить. Я и дочь будемъ очень рады васъ видѣть. Мы живемъ вмѣстѣ, т.-е. въ одномъ и томъ же этажѣ въ двухъ шагахъ отсюда.—И онъ назвалъ одну изъ большихъ гостиницъ улицы Риволи. Я вопросительно взглянулъ на графиню, ожидая, прежде чѣмъ отвѣтить на приглашеніе генерала, какого-либо съ ея стороны подтвержденія его словъ. Она, очевидно, поняла мое ожиданіе, но опустила глаза и ничего не сказала.

— Да, кстати,—заговорилъ опять генералъ, прерывая водворившееся между нами, нѣсколько неловкое молчаніе,—вы читали въ газетахъ о произведенныхъ недавно въ Римѣ любопытнѣйшихъ раскопкахъ? Я этими вещами, какъ вы знаете, не занимаюсь, но когда прочиталъ, тотчасъ же вспомнилъ о васъ и подумалъ: ну, теперь Погостовъ навѣрное поспѣшитъ въ свой милый Римъ, на Форумъ посмотрѣть, что́ тамъ раскопали по части старины.

— Я дѣйствительно собираюсь въ Италію,—отвѣчалъ я,—и, вѣроятно, буду въ Римѣ; но теперь еще тамъ жарко.

— Вы много путешествуете?—рѣшившись наконецъ заговорить со мной, спросила графиня, глядя куда-то въ сторону.

— Погостовъ путешествуетъ всегда, всю жизнь,—отвѣтилъ за меня генералъ.

— Если можно назвать путешествіями бродяжничество изъ стороны въ сторону, безъ всякой опредѣленной цѣли,—пояснилъ я.

— И вамъ не надоѣдаетъ это, какъ вы сами называете, бродяжничество? —спросила еще графиня.—Вамъ никогда не хочется домой?

— Въ Россію я отъ времени до времени возвращаюсь съ удовольствіемъ; но въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы, графиня, вѣроятно говорите — домой, т.-е. въ смыслѣ своего гнѣзда—нѣтъ; меня къ нему не тянетъ. Да у меня даже теперь и не имѣется своего гнѣзда; я въ Россіи продалъ всѣ свои недвижимости. Я нигдѣ не дома и, слѣдовательно... дома вездѣ!

— Развѣ это возможно?

— Почему же нѣтъ?

— Лена!—вмѣшался въ нашъ разговоръ Пахтуровъ, обращаясь къ дочери съ какимъ-то внезапнымъ воодушевленіемъ,—знаешь ли? Если есть человѣкъ на свѣтѣ, которому я завидую, такъ это именно этотъ, стоящій передъ тобой, Степанъ Михайловичъ Погостовъ. Сама подумай: ни въ чемъ и ни въ комъ не нуждается, здоровъ, не старъ еще, не женатъ, свободенъ, какъ вѣтеръ въ полѣ и—что рѣже всего встрѣчается въ наше время, особенно между русскими людьми—умѣетъ пользоваться своею свободой, умѣетъ жить. Чего же еще нужно?—счастливѣйшій человѣкъ.

При послѣднихъ словахъ отца, графиня съ любопытствомъ посмотрѣла на меня, какъ бы спрашивая: «это правда? Вы счастливѣйшій человѣкъ?»

Скользнувшая по лицу моему невеселая усмѣшка отвѣтила ей отрицательно.

Графиня опять отвернулась и стала пристально смотрѣть на выставленныя въ окнѣ ближайшаго магазина, пестрыя бездѣлушки.

— Она или очень горда, или очень застѣнчива, что въ сущности одно и то же,—подумалъ я.

— Однако, намъ дѣйствительно пора идти завтракать,—вдругъ рѣшилъ Пахтуровъ. До свиданья... Пойдемъ, Лена,—обратился онъ къ дочери.

Графиня, очнувшись отъ набѣжавшаго на нее раздумья, обернулась ко мнѣ и протянула мнѣ руку.

— Мы ждемъ васъ сегодня, приходите,—съ неожиданной для меня радушной улыбкой и слегка краснѣя, добавила она.

Я раскланялся и мы разошлись въ разныя стороны.

Пройдя нѣсколько шаговъ, я обернулся назадъ и увидалъ генерала, удалявшагося подъ руку съ дочерью.

Она какъ-то особенно ярко выдѣлялась въ моихъ глазахъ изъ окружавшей ее толпы; несмотря на все увеличивающееся между нами разстояніе и на заслонявшихъ ее поминутно прохожихъ, мнѣ достаточно было, чтобы вдалекѣ мелькнула ея шляпка, или платье, чтобы опять видѣть ее всю, какъ бы стоящую совсѣмъ близко—и чей-то въ мысляхъ, словно посторонній, голосъ, заглушая говоръ и шумъ улицы, внятно сказалъ мнѣ: эта встрѣча не пройдетъ тебѣ даромъ, эту женщину, на бѣду себѣ, ты полюбишь.

Въ первый разъ въ жизни, одновременно съ тѣмъ, какъ затлѣлась во мнѣ искра зарождающа-

гося новаго чувства, раздался и этотъ, невѣдомый мнѣ дотолѣ, голосъ.

Мнѣ хотѣлось бы съ возможною точностью передать вамъ испытанное мною тогда впечатлѣніе; но какъ это сдѣлать? Попробую прибѣгнуть къ сравненію. Припоминается мнѣ, какъ, бывало, давно, когда по лѣтамъ я живалъ еще въ деревнѣ, доводилось мнѣ послѣ знойнаго іюльскаго дня возвращаться съ охоты позднимъ вечеромъ пустынною полевою дорогою. Кругомъ просторъ, тишина, темнота... до дома еще не близко. И вдругъ, передъ глазами что-то сверкаетъ— быстро и неопредѣленно, такъ что не знаешь: почудилось ли это только, или дѣйствительно сверкнула зарница? Остановишься, прислушаешься... Черезъ нѣсколько мгновеній, сквозь тьму и теплынь, въ отдаленіи громыхнетъ что-то еле внятное, но чуется, что могучее, стихійное—и знаешь: съ той стороны, гдѣ померещилось, что сверкнуло, и послышалось, что прогремѣло—скоро придетъ гроза. Я любилъ и люблю грозы. Я не боялся ихъ никогда, даже въ дѣтствѣ; но эти смутные отблески, эти дальніе, едва уловимые слухомъ раскаты изъ не поднявшейся еще надъ рубежомъ земли грозовой тучи, всегда возбуждали во мнѣ какую-то смутную тревогу. И вотъ, такое же точно чувство испыталъ я и тогда, встрѣтивъ передъ собою никогда и нигдѣ не виданный, но внезапно блеснувшій чѣмъ-то до такой степени милымъ и роднымъ, женскій образъ и услыхавъ впервые внутри себя предостерегающій и даже какъ-будто зловѣщій голосъ.

Очень все это не похоже было на то, что въ продолженіе всей моей жизни я испытывалъ при встрѣчахъ съ другими женщинами, которыми потомъ иногда увлекался, которыхъ даже любилъ, если любовью позволительно называть отношенія, не затрогивающія душу. Тутъ, какъ отъ надвигающейся издалека грозы, тоже повѣяло на меня чѣмъ-то могучимъ, стихійнымъ; но охватившая душу тревога не только меня не испугала, не только я не сдѣлалъ попытки укрыться отъ бури, но, безпрекословно покорясь внутреннему влеченію, пошелъ ей прямо навстрѣчу... и—какъ это ни странно—измученный, опаленный и брошенный на земь этою бурею, я и до сихъ поръ не раскаиваюсь въ моемъ тогдашнемъ безуміи: оно было мучительно, но прекрасно!

Писатели любятъ подробно останавливаться на развитіи чувствъ, подыскивать объясненія и оправданія этимъ чувствамъ не только въ душевныхъ свойствахъ героевъ и героинь, но даже въ ихъ образѣ мыслей, въ обстановкѣ и условіяхъ общественной и семейной ихъ жизни. Я, какъ неписатель, не берусь ни объяснять, ни оправдывать того, что происходило тогда во мнѣ. Когда въ назначенный часъ я пришелъ къ графинѣ на ея приглашеніе, во мнѣ еще шевелилось сомнѣніе: не померкнетъ, не исчезнетъ ли то впечатлѣніе, которое я унесъ съ собою послѣ утренней встрѣчи на улицѣ? Мнѣ даже почему-то этого хотѣлось и, увидавъ графиню почти въ домашней обстановкѣ просторнаго и удобнаго помѣщенія, окруженную

семьею и гостями, дѣловито разливавшую чай, я, чуть не съ злорадствомъ относительно себя, рѣшилъ, что первое впечатлѣніе меня обмануло и что я опять имѣю передъ собою одну изъ тѣхъ многочисленныхъ, удовлетворенныхъ своею долею русскихъ дамъ, отъ которыхъ въ большинствѣ нашихъ столичныхъ и провинціальныхъ гостиныхъ вѣетъ такимъ сплошнымъ ненастьемъ, такой безпросвѣтной скукой.—Вотъ ея призваніе,—говорилъ я себѣ, слѣдя за тѣмъ, какъ графиня, исполняя обязанности хозяйки, внимательно процѣживала чай сквозь подвѣшенную къ носику чайника ситку и осторожно наполняла разставленныя передъ нею на столѣ чашки. Вотъ ея семейныя радости,—продолжалъ я свои наблюденія, глядя, какъ семи или восьми-лѣтняя дѣвочка—старшая дочь, — забравшись съ ногами на диванъ, тормошила мать, неотступно и капризно прося позволенія съѣсть похищенный ею на столѣ бисквитъ, между тѣмъ какъ съ другой стороны чопорная англичанка-бонна тщетно старалась унять пухлаго младенца, почему-то расхныкавшагося на ея рукахъ при моемъ появленіи.

— А вотъ и избранникъ ея сердца—уязвилъ я себя, вглядываясь въ только-что познакомившагося со мною и усѣвшагося въ ближайшее отъ меня кресло, графа Броневскаго—франтоватаго господина съ характерно польскими чертами лица, убѣгающимъ назадъ лбомъ, острымъ и въ то же время уклончивымъ взглядомъ, изящно закрученными усами и тщательно подстриженной, клинообразной бородкой.

— И всѣмъ этимъ она довольна, и больше ей ничего не надо,—заключилъ я, переводя взоръ на графиню; но каждый разъ, когда я его на ней останавливалъ со мной происходило нѣчто совсѣмъ необъяснимое: все, что я видѣлъ и слышалъ вокругъ, могло только утвердить во мнѣ мысль, что графиня не должна бы стать героиней моего романа, что у меня съ ней, повидимому, нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго; а между тѣмъ въ каждомъ ея взглядѣ, въ каждомъ ея движеніи и словѣ—не въ томъ, что̀ она говорила, а въ звукѣ ея голоса—сказывалась мнѣ такая несомнѣнная, душевная близость, что становилось даже какъ-то жутко отъ этой близости, ничѣмъ не устранимой, хотя и ничѣмъ не оправданной. Мысленно я уже называлъ графиню, услышаннымъ мною поутру изъ устъ ея отца, именемъ Лены и звукъ этого имени, неразрывно связанный съ тихимъ и свѣтлымъ образомъ той, которая его носила, разомъ покрылъ весь шумъ окружающей меня жизни.

Въ гостиной, кромѣ четы Броневскихъ и дѣтей (послѣднихъ, впрочемъ, вскорѣ послѣ моего прихода увели вонъ) я засталъ въ качествѣ гостей очень нарядно одѣтую даму, жену одного изъ кочующихъ по земному шару русскихъ дипломатовъ, и польскаго князя Х., человѣка неопредѣленнаго возраста, очень блѣднаго и тощаго, съ маленькой, почти дѣтской, совершенно лысой головой, подпертой туго накрахмаленнымъ высокимъ воротничкомъ рубашки. Дама и князь находились въ Парижѣ проѣздомъ по пути въ Біаррицъ и оба вза-

пуски нападали на графа Броневскаго за то, что онъ, въ первый разъ привезшій жену за-границу, выбралъ для посѣщенія Парижа такое время года, когда большинство театровъ закрыто, у портныхъ и въ модныхъ магазинахъ по части дамскихъ нарядовъ не только ничего не выставлено, но еще и не заготовлено, а общество—le tout Paris—отсутствуетъ, пребывая въ провинціальныхъ замкахъ, на водахъ и морскихъ купаньяхъ. Графъ снисходительно улыбался и пожималъ плечами. Графиня заступалась за мужа, говорила, что въ другое время имъ неудобно было бы путешествовать и что Парижъ, хотя и въ morte saison, ей все-таки очень нравится.

— Парижъ—всегда останется Парижемъ,—глубокомысленно замѣтилъ князь X.,—la capitale du monde, la ville-lumière—какъ сказалъ Викторъ Гюго. Но чтобы оцѣнить всю прелесть Парижа, надо его видѣть или глубокой осенью, или ранней весной, въ сезоны первыхъ представленій и скачекъ на большіе призы въ Булонскомъ лѣсу. Вы, конечно, засвидѣтельствуете передъ графиней, что я правъ,—добавилъ князь, почему-то обращаясь ко мнѣ.

— Для меня Парижъ, какъ городъ и какъ общество, одинаково непріятенъ во всѣ времена года,—сказалъ я.

— Не можетъ быть!—Парижъ вамъ непріятенъ? Вы не любите Парижъ? это почему?—разомъ съ двухъ сторонъ посыпались на меня вопросы дамы и князя.

Лена также вопросительно взглянула на меня.

— Я не люблю Парижъ,—отвѣчалъ я ей,—по тому что люблю просторъ, свободу, веселье.

— Какъ это странно? Развѣ въ Парижѣ нѣтъ свободы? Парижъ для васъ тѣсенъ? Гдѣ же веселятся больше и лучше, чѣмъ въ Парижѣ?—раздались опять удивленные и даже какъ будто обиженные голоса моихъ собесѣдниковъ.

— Я не люблю Парижъ,—продолжалъ я, обращаясь къ Ленѣ,—потому что нигдѣ такъ сильно не ощущаю гнета толпы; нигдѣ такъ не порабощенъ ея насилію, ея предразсудкамъ, ея взбалмошности и глупости, какъ здѣсь. Французы чаще и громче всѣхъ кричатъ о свободѣ, но менѣе всѣхъ способны не только ею пользоваться, но даже и понимать, въ чемъ собственно она заключается.

— Ахъ, пожалуйста, не будемъ говорить о политикѣ!—воскликнула дама.

— Я не о политической свободѣ говорю—возразилъ я,—я говорю о свободѣ вообще и даже не столько о свободѣ внѣшней жизни, сколько о свободѣ нравственной, умственной... Здѣсь не только ѣдятъ, пьютъ, одѣваются и гуляютъ, но и чувствуютъ, и думаютъ по модѣ, т.-е. по вырабатываемымъ толпою образцамъ и правиламъ; и хотя эти правила и образцы мѣняются такъ же легко и часто, какъ перчатки, но отъ этого не легче; тѣ, которые въ данное время находятся въ употребленіи, преисправно жмутъ, давятъ, связываютъ руки, словомъ,—жить не даютъ.

— Въ томъ, что вы сейчасъ сказали насчетъ свободы, есть доля правды,—глубокомысленно за-

говорилъ князь,—va pour la liberté! Я готовъ вамъ въ этомъ уступить; но что касается веселья—la gaité—позвольте съ вами совершенно не согласиться и заявить мой самый энергическій протестъ: по этой части пальма первенства всегда принадлежала и, конечно, будетъ принадлежать французамъ. Противъ этого спорить нельзя.

Онъ торжественно и даже строго взглянулъ на меня.

— Смотря по тому, что называть весельемъ,— обратился я снова къ Ленѣ.—Французы вообразили и сумѣли увѣрить въ томъ весь свѣтъ, что веселье фабрикуется, продается и даже вывозится за-границу въ числѣ другихъ articles de Paris;— а мнѣ всегда казалось, что веселье дается только самою жизнью и что его ни за какія деньги ни въ какой лавочкѣ купить нельзя.

— C'est trop profond pour moi,—насмѣшливо отозвалась дама.—Я не понимаю этой философіи.

— Я тоже,—поддакнулъ князь.

Графъ Броневскій, глядя на меня, продолжалъ такъ же снисходительно улыбаться, какъ прежде того улыбался дамѣ и князю. Лена молчала, опустивъ глаза.

Мнѣ стало вдругъ досадно. Съ какой стати, гдѣ и передъ кѣмъ вздумалъ я выкладывать свои мысли!—и, чтобъ перемѣнить разговоръ, спросилъ Лену, дома ли ея отецъ и могу ли я къ нему пройти?

— Къ папа пріѣхалъ его управляющій изъ Петербурга,—отвѣчала она,—и они теперь заперлись

вдвоемъ и говорятъ о дѣлахъ уже болѣе часа. Вѣроятно, этотъ господинъ скоро уйдетъ. Если вы не торопитесь и вамъ не слишкомъ скучно, посидите пока съ нами.

Едва замѣтная усмѣшка скользнула въ глазахъ Лены, когда она произносила эти послѣднія слова.

— Надъ кѣмъ она смѣется? надъ своими гостями или надо мной?—спросилъ я себя и тутъ же мысленно рѣшилъ, что не стану дожидаться генерала, если гости тотчасъ же не уйдутъ.

Какъ бы угадавъ мое желаніе, дама и князь разомъ поднялись съ своихъ мѣстъ и стали прощаться.

Стало быть, нужно остаться—подумалъ я, озадаченный такимъ поспѣшнымъ исполненіемъ моего каприза и пока хозяева, провожая гостей, выходили въ прихожую, въ голову мнѣ, вѣроятно подъ впечатлѣніемъ поощрившей меня случайности, пришла другая, совершенно уже странная мысль,—одна изъ тѣхъ мыслей, которыя иногда, какъ бы брошенныя откуда-то извнѣ, сразу, однако, западаютъ въ сознаніе и пріобрѣтаютъ въ немъ власть непререкаемой истины. Я сказалъ себѣ: если графъ съ графиней вернутся въ гостиную и мы просидимъ всѣ трое вмѣстѣ до прихода Пахтурова, переливая, какъ говорится, изъ пустого въ порожнее—встрѣча моя съ этой женщиной и чувство мое къ ней, показавшееся мнѣ почему-то такимъ серьезнымъ, не болѣе какъ преходящая случайность. Останавливаться на нихъ не стоитъ—и я завтра уѣду изъ Парижа. Если же судьба устроитъ

такъ, что теперь же, тотчасъ же я останусь съ графиней, хотя бы на самое короткое время, вдвоемъ, съ-глазу на-глазъ—это будетъ для меня указаніемъ, что внутренній голосъ меня не обманулъ и что не только я дѣйствительно полюблю Лену, какъ въ жизни до этого времени не любилъ еще ни одной женщины, но что и она меня полюбитъ.

Согласитесь, что мысль была странная; но еще страннѣе было то, что я твердо въ нее увѣровалъ и тутъ же сталъ волноваться въ тревожномъ и нетерпѣливомъ ожиданіи, какъ будто и въ правду сейчасъ должна была рѣшиться вся дальнѣйшая моя участь. Увы, я еще и не догадывался, насколько мною же самимъ придуманная примѣта окажется вѣрной и до какой степени предчувствіе о важности для меня переживаемыхъ тогда мгновеній скоро и вполнѣ оправдается.

Вставъ съ своего мѣста и подойдя къ широкому окну, изъ котораго открывался видъ на улицу Риволи и Тюльерійскій садъ, я сталъ прислушиваться къ тому, что происходило въ прихожей. Оттуда до меня доносились довольно долго продолжавшіеся разговоры, смѣхъ и обмѣнъ прощальныхъ восклицаній. Затѣмъ я слышалъ, какъ гости ушли и какъ затворилась за ними дверь въ коридоръ гостиницы; но хозяева почему-то не возвращались.

Я притаилъ дыханіе; я замеръ на мѣстѣ, какъ бы страшась малѣйшимъ шумомъ, малѣйшимъ движеніемъ выдать свою затаенную мысль.

Оставаясь въ прихожей, графъ пониженнымъ голосомъ сталъ говорить что-то, чего я разслыхать не могъ.

— Хорошо,—громко отозвалась Лена.

Графъ продолжалъ говорить.

— Хорошо, хорошо, — повторила еще Лена,— скажу; только не опоздай къ обѣду, а то папа будетъ опять недоволенъ...

Сомнѣнья быть не могло: графъ уходилъ и, стало быть, мы оставались съ Леной вдвоемъ, съглазу на-глазъ. Судьба, какъ послушная рабыня, исполняла безпрекословно и это мое желаніе и это требованіе! Признаюсь,—сердце забилось такъ сильно, я пришелъ въ такое смущеніе, что, стоя у окна спиною къ входнымъ дверямъ, даже не обернулся, когда Лена одна возвратилась въ гостиную. Я продолжалъ стоять неподвижно, весь погруженный въ охватившее меня чувство, не отрывая взгляда отъ лучей склонявшагося къ закату солнца, просвѣчивавшихъ сквозь вѣтви и листву деревьевъ Тюльерійскаго сада—и какими яркими, веселыми показались мнѣ вдругъ эти лучи! Какъ деревья красиво купали въ нихъ свои кудрявыя верхушки! какая радостная, бьющая ключемъ жизнь кипѣла на улицѣ и какъ хорошо мнѣ было это все видѣть, слышать и чувствовать!

Впрочемъ, когда, мгновеніе спустя, на голосъ графини, вѣроятно удивленной моей неподвижностью, я, очнувшись наконецъ отъ своего полузабытья, подошелъ къ ней и она стала извиняться за мужа, принужденнаго по неотложному дѣлу

выѣхать изъ дома,— волненіе во мнѣ настолько стихло и я такъ овладѣлъ собою, что догадался даже спросить, не мѣшаю ли я своимъ присутствіемъ и не лучше ли мнѣ придти въ другой день, чтобы повидаться съ ея отцомъ?

Не отвѣчая мнѣ, графиня сѣла на прежнее свое мѣсто за чайный столикъ и, указавъ на ближайшее къ себѣ кресло, сказала:

— Садитесь, закуривайте папиросу, а я вамъ еще чаю налью. Отецъ навѣрное сейчасъ придетъ.

Я повиновался. Мы возобновили разговоръ о Парижѣ.

— Я увѣренъ,—началъ я,—что въ происшедшемъ между мною и вашими гостями спорѣ вы, хотя и не принимали почти въ немъ участія, внутренно были, однако, вполнѣ на сторонѣ моихъ противниковъ.

— Это правда,—сказала Лена,—но почему вы такъ въ этомъ увѣрены? Кажется, въ вашей увѣренности есть относительно меня что-то не совсѣмъ любезное.

— Не только не любезное, но даже отчасти дерзкое,—смѣясь отвѣтилъ я.

Лена вскинула на меня вопросительный взглядъ.

— Вотъ какъ!—съ шутливо-обиженнымъ удареніемъ произнесла она.—Въ такомъ случаѣ, пожалуйста, продолжайте и объясните, въ чемъ заключается ваша дерзость?

— Въ томъ, графиня, что я осмѣлился причислить васъ къ сонму соотечественницъ, которыя, не сумѣвъ устроить для себя дома свѣтлую, ра-

достную, разнообразную и свободную жизнь и наскучавшись вдоволь въ Россіи, жаждутъ за границей развлечься, испытать что-нибудь необыкновенное, одурманивающее и—простите меня, я буду совершенно откровененъ—что-нибудь, если не дѣйствительно запретное, то очень похожее на запретное и близкое къ нему. Парижъ съ его бульварами, ресторанами, кафе-шантанами и наполняющимъ ихъ людомъ, въ такихъ случаяхъ дѣйствительно незамѣнимъ. Досадно только то, что въ этомъ самомъ Парижѣ, рядомъ съ перечисленными прелестями, есть много не только хорошаго, но истинно прекраснаго и высокаго. Я уже не говорю о томъ, что могутъ здѣсь найти люди науки; эта область мало кому доступна; но по части искусства—какія тутъ собраны чудеса и сокровища! Какія можно здѣсь услыхать музыкальныя исполненія! Но не это привлекаетъ сюда насъ, русскихъ. Вотъ, напримѣръ, вы, графиня,—живете здѣсь, кажется, уже болѣе недѣли; а были вы въ Луврѣ?—т. е. не въ магазинахъ Лувра (тамъ вы, вѣроятно, побывали) а въ Луврскомъ національномъ музеѣ?

— Нѣтъ, не была,—отвѣчала Лена.

— А на какомъ нибудь уличномъ балѣ, окутавъ лицо въ густой вуаль, вы уже побывали, конечно?

Лена улыбнулась и утвердительно кивнула головой.

— Я была въ Jardin de Paris, призналась она.

— И не правда ли вамъ казалось, любуясь на невиданные вами до тѣхъ поръ танцы и на этихъ

дамъ, гуляющихъ во множествѣ повсюду, вокругъ и рядомъ съ вами, даже толкающихъ васъ локтями и плечами,—что вамъ страшно весело, что вы непозволительно и безумно кутите?

— Нѣтъ, — серьезно отвѣчала Лена, — мнѣ не было весело. Я старалась убѣдить себя, что веселюсь, но въ сущности испытывала какое-то довольно непріятное чувство.

— Про это-то я и толкую, въ этомъ и стараюсь убѣдить кого могу! Развѣ это настоящее веселье, настоящая свобода?—заговорилъ было я, но умолкъ, замѣтивъ внезапную перемѣну выраженія на лицѣ Лены.

— Гдѣ же они, настоящія-то?—произнесла она и какъ-то вдругъ ушла въ себя, откинулась къ спинкѣ кресла и стала руками передергивать, висѣвшую на ея груди, длинную часовую цѣпочку.

— Какъ гдѣ?—горячо возразилъ я,—да они могутъ быть вездѣ, гдѣ только есть жизнь—и въ природѣ, и въ общеніи съ людьми, и въ искусствѣ—въ искусствѣ въ особенности. Войдите въ его міръ, всмотритесь въ его произведенія, поймите ихъ и они наполнятъ ваше существованіе, научатъ, какъ жить; дадутъ и веселье, и свободу, и даже, можетъ быть, счастье.

— Должно быть, отецъ былъ правъ, сказавъ, что вы умѣете жить; но не всѣ обладаютъ этимъ умѣніемъ; да и условія жизни бываютъ разныя. Вы свободный человѣкъ, путешествуете, дѣлаете, что хотите, —вамъ хорошо; а у кого этой свободы

нѣтъ, у кого обязанности, семья — какъ тѣмъ быть?

Лена медленно подняла глаза и мимо меня стала глядѣть по направленію къ окну, гдѣ свѣтилась заря, отражаясь на ея лицѣ теплымъ румянцемъ.

Я не отвѣчалъ и не потому, что не находилъ отвѣта, а просто—все вниманіе мое было поглощено самою Леною; я залюбовался ею, залюбовался новой, озарившей ея черты, красотой—красотой раздумья и тихой грусти, которую мнѣ захотѣлось разгадать, раздѣлить и, если возможно, разсѣять.

Но въ прихожей раздался стукъ двери и послышались шаги.

— Вотъ и отецъ,—мгновенно оживившись, сказала Лена,—и въ комнату быстро и шумно вошелъ Пахтуровъ, раздосадованный продолжительностью совѣщанія съ управляющимъ и тѣмъ, что заставилъ меня такъ долго дожидаться.

Онъ попросилъ себѣ чаю, закурилъ сигару и повелъ разговоръ. Для приличія я посидѣлъ еще нѣкоторое время, разсѣянно слушая жалобы на трудность по нынѣшнимъ временамъ управлять имѣніемъ и ладить съ распущенными, пьяными крестьянами. Но становилось поздно; пора было кончить посѣщеніе, да и мнѣ самому захотѣлось вдругъ уйти, уединиться, чтобъ разобраться во впечатлѣніяхъ пережитаго дня.

— Вы не сердитесь на меня за мои дерзости?— спросилъ я, прощаясь съ графиней.

— Вы мнѣ не сказали никакихъ дерзостей, вы сказали только правду, отвѣтила она—и опять легкая тѣнь пробѣжала по ея лицу.

Пахтуровъ началъ было допрашивать—въ чемъ дѣло? но я поторопился выйти и, послѣдовавъ за мною, старикъ удовлетворился тѣмъ, что я обѣщалъ явиться на слѣдующій день въ тотъ же часъ, когда никто уже не помѣшаетъ ему наговориться со мною вдоволь за все то время, пока мы съ нимъ не видались.

— До завтра, значитъ?—повторилъ Пахтуровъ.

— До свиданія,—послышался голосъ подошедшей къ двери Лены.

И, унося съ собою въ душѣ звукъ этого голоса, я вышелъ изъ гостиницы и очутился подъ аркадами улицы Риволи.

III.

Говорятъ, что гдѣ-то на Востокѣ существуютъ кудесники, отыскивающіе зарытые въ землѣ клады при помощи подвѣшенной на тесьмѣ, волшебной палочки. Палочка эта своими движеніями направляетъ поиски и, доведя до мѣста, даетъ знакъ остановиться. Никакихъ внѣшнихъ признаковъ не видно. Начинаютъ рыть землю—кладъ не показывается, но палочка упрямо говоритъ: не останавливайтесь, ройте глубже—онъ тутъ.

Благо искателю, который съ непоколебимою вѣрой въ чудесное указаніе не остановится ни передъ какими препятствіями! Кладъ передъ нимъ

раскроется; счастливецъ возьметъ и унесетъ съ собою отысканное имъ золото. За то горе тому, кто хотя на мгновеніе поколеблется въ вѣрѣ или, еще того хуже, усомнится въ своемъ правѣ на обладаніе сокровищемъ! Кладъ, сверкнувъ передъ глазами, ослѣпитъ ихъ мгновеннымъ блескомъ, но затѣмъ тотчасъ же скроется и уйдетъ навсегда въ недоступныя глубины земныхъ нѣдръ.

Мнѣ вспомнилось это повѣріе, когда въ раздумьи, наталкиваясь на прохожихъ, я возвращался домой по освѣщенной уже вечерними огнями улицѣ. Какое-то таинственное внутреннее чувство, подобно волшебной палочкѣ кудесника, остановивъ меня передъ Леной, упрямо, вопреки всякому вѣроятію и здравому смыслу, повторяло: онъ тутъ, предназначенный тебѣ судьбою кладъ,— твое сокровище, твое счастье; не отходи прочь, не предавайся сомнѣнію, раскидай препятствія и возьми его!

И я былъ не въ силахъ заглушить въ себѣ это чувство, былъ не властенъ не повѣрить его голосу, отвернуться отъ ласково заглянувшаго мнѣ въ глаза видѣнія. Видѣніе это, въ лицѣ Лены, внезапно встало передо мною новымъ, живымъ воплощеніемъ когда-то въ юности вспыхнувшей и потомъ надолго померкшей мечты о счастіи. И вдругъ мнѣ показалось — да и не только показалось, но стало совершенно ясно — что именно это счастье, счастье встрѣчи съ Леной, и было тѣмъ желаннымъ призракомъ, который въ продолженіе всей моей жизни не давалъ мнѣ ни отдыха, ни покоя, который манилъ и звалъ меня неустанно за собою

въ невѣдомую даль и незримо сопутствовалъ повсюду, во всѣхъ моихъ скитаніяхъ по бѣлому свѣту. Что̀ давало мнѣ эту увѣренность? Чѣмъ сразу заворожила меня Лена? Что̀ проглянуло мнѣ въ ней сквозь оболочку женщины молчаливой, застѣнчивой, спокойно погруженной въ будничныя пошловатыя заботы семейной жизни? Богъ вѣсть! Не почуяло ли мое сердце и въ ней, въ этой степенной супругѣ графа Броневскаго и заботливой матери куколками одѣтыхъ дѣтей, то сокровенное мерцаніе мятежнаго пламени, ту дремлющую до времени жажду простора и воли, которая, случайно очнувшись, подобно невѣдомо откуда набѣжавшему полевому вихрю, охватываетъ избранную душу, поднимаетъ ее съ унылой равнины жизни и невозвратно уноситъ въ бездорожную высь голубого, лучезарнаго неба?

Но къ чему эти вопросы? Полюбилъ ли я Лену потому, что встрѣтилъ въ ней воплощеніе завѣтной мечты, или показалась она мнѣ такимъ воплощеніемъ потому, что я ее полюбилъ — не все ли равно? Вернувшись домой и запершись въ своей комнатѣ, я опустился въ стоявшее у окна кресло и, не зажигая огня, долго просидѣлъ неподвижно, все пристальнѣе вглядываясь въ свѣтившійся передо мною, какъ румяное облачко на утренней зарѣ, образъ Лены, все глубже прислушиваясь къ несмолкавшему въ моей душѣ ея голосу, все дальше уходя въ широко раскрывшійся передо мною сказочный міръ моей къ ней любви.

Вы, конечно, посмѣетесь надо мною при чтеніи этихъ строкъ, напоминающихъ своею непосредственностью страницы тѣхъ дневниковъ, которые ведутся юношами, тайкомъ отъ родителей, по ночамъ въ пору первыхъ любовныхъ похожденій. Но что же дѣлать! Рѣшившись раскрыть передъ вами тайникъ бродяжнической души, я скрылъ бы отъ васъ одну изъ наиболѣе характерныхъ ея чертъ, если бы не обличилъ въ себѣ эту самую непосредственность, эту почти дѣтскую первобытность чувства. Дѣло въ томъ, что въ жизни скитальческой, при постоянной смѣнѣ и разнообразіи внѣшнихъ впечатлѣній, душа тратится несравненно менѣе, нежели въ жизни осѣдлой, часто прикрывающей подъ личиною тишины и спокойствія непрерывную и напряженную борьбу внутреннихъ замысловъ, вожделѣній и страстей. Осѣдлый человѣкъ весь состоитъ во власти безпощадно гнетущей его дѣйствительности; скиталецъ только бродитъ вокругъ нея, или проносится надъ нею; но за то, когда дѣйствительность невзначай возьметъ его за плечи и взглянетъ ему прямо въ глаза, въ душѣ его, какъ бы поздно это ни случилось, найдется всегда непочатый уголъ цѣлины, не тронутой жизнью, запасъ неизвѣданныхъ и неиспытанныхъ надеждъ, радостей и горестей, способность ощущать которыя съ юношескою живостью была бы при иныхъ условіяхъ давно и невозвратно утрачена.

Вотъ почему въ тотъ вечеръ, сидя одиноко въ неосвѣщенномъ номерѣ парижской гостиницы и подперши рукою голову, я замечтался, какъ меч-

таютъ впервые влюбленные юноши, молитвенно любуясь Леною, вознося ее въ мысляхъ превыше всего земного, воскрешая въ памяти всѣ малѣйшія подробности пережитаго дня — отъ встрѣчи на улицѣ до прозвучавшихъ мнѣ въ догонку при выходѣ моемъ изъ ея гостиной словъ: до свиданія.

— Не прощайте, а до свиданія,—повторялъ я, улыбаясь въ темнотѣ, и молодая радость — радость жизни проникала мнѣ въ душу при мысли о завтрашнемъ днѣ и о послѣдующихъ затѣмъ дняхъ съ предстоящими въ нихъ для меня встрѣчами, свиданіями и треволненіями.

IV.

Я, конечно, не стану вамъ разсказывать изо дня въ день исторію моей любви къ Ленѣ. Цѣль, которою я задался, принимаясь писать для васъ эти воспоминанія, вполнѣ будетъ достигнута, если я изъ общаго теченія тогдашней моей жизни послѣдовательно выдѣлю и освѣщу только нѣсколько отдѣльныхъ эпизодовъ, нѣсколько часовъ и даже мгновеній, особенно запечатлѣвшихся въ моей памяти. Вообще, время, проведенное мною тогда въ Парижѣ, оставило во мнѣ такое впечатлѣніе, какъ будто я пережилъ множество разнообразныхъ событій — свѣтлыхъ и темныхъ, веселыхъ и печальныхъ; какъ будто жизнь бушевала вокругъ, перекидывая меня, какъ послушное игралище, изъ стороны въ сторону, отъ лучей къ мраку, отъ радо-

сти къ тревогѣ; а между тѣмъ ничего подобнаго въ дѣйствительности не было и съ внѣшней стороны дни протекали самымъ обыкновеннымъ порядкомъ, такъ что и разсказывать-то о нихъ почти нечего. Казались же они мнѣ такими содержательными вслѣдствіе какого-то повышенно-чуткаго настроенія, при которомъ каждая мелочь, каждое хотя бы и самое ничтожное проявленіе мысли и чувства въ любимомъ существѣ даютъ или счастье, или горе, смотря по тому, какое придаешь имъ толкованіе и значеніе.

Судьба продолжала мнѣ покровительствовать. Все возрастающее ко мнѣ расположеніе Пахтурова, объяснимое только старческою потребностью имѣть при себѣ постояннаго собесѣдника, непринужденность отношеній, легко устанавливающаяся между людьми, когда они находятся внѣ того мѣста, гдѣ постоянно живутъ, и въ особенности, когда путешествуютъ за границей; наконецъ, то обстоятельство, что Лена большую часть дня проводила не съ мужемъ, а съ отцомъ — все это, вмѣстѣ взятое, не могло не содѣйствовать быстрому моему съ ней сближенію. Графъ, имѣвшій родственныя связи и многочисленныя знакомства въ польскихъ, дипломатическихъ и спортсменскихъ кружкахъ Парижа, часто отсутствовалъ изъ дома и смотрѣлъ совершенно равнодушно, а, можетъ быть, отчасти и благосклонно, на мои ежедневныя посѣщенія и совмѣстныя съ графиней и Пахтуровымъ прогулки по Парижу; они давали ему возможность съ большею независимостью располагать своимъ временемъ.

Въ одинъ изъ первыхъ же дней нашего знакомства, повстрѣчавшись со мною при выходѣ съ графиней изъ гостиницы, графъ самъ обратился ко мнѣ съ просьбой показать Ленѣ картинныя собранія Лувра.

— Вы, я слышалъ, такой любитель, такой знатокъ по части искусства,—сказалъ онъ мнѣ, любезно улыбаясь,—что жена, которая почему-то вдругъ непремѣнно потребовала, чтобы я повелъ ее въ Лувръ, не могла бы найти себѣ лучшаго чичероне. Ни я, ни тесть мой на это не годимся — оба мы ничего въ живописи и скульптурѣ не понимаемъ, и я былъ бы вамъ очень обязанъ, если бы вы согласились меня въ этомъ случаѣ замѣнить и сопутствовать Hélène въ ея первомъ pélérinage artistique. Кстати, — обратился графъ уже исключительно къ Ленѣ, — я могъ бы воспользоваться свободнымъ временемъ и покончить съ тѣмъ дѣломъ... знаешь... насчетъ покупки мебели. Конечно, — добавилъ онъ,—это только въ томъ случаѣ, если бы господину Погостову угодно было оказать тебѣ просимую мною любезную услугу.

Графинѣ, видимо, не понравилась эта неожиданная выходка ея мужа. Быть можетъ, ей было досадно, что я изъ его словъ узналъ о ея настояніи посѣтить Лувръ, которое я могъ приписать исключительно нашему предыдущему съ нею разговору—и, избѣгая моего взгляда, она холодно отвѣтила графу:

— Если тебѣ сегодня некогда, мы можемъ пойти въ другой разъ; зачѣмъ же безпокоить Степана Михайловича?

Но графъ продолжалъ настаивать и въ концѣ концовъ все устроилось къ общему удовольствію: я поспѣшилъ заявить о полнѣйшей моей готовности сопутствовать графинѣ; Лена, примирившись съ раскрытіемъ ея замысла, согласилась, хотя и не совсѣмъ охотно, идти со мной; графъ, вскочивъ въ проѣзжавшаго мимо фіакра, укатилъ по своимъ дѣламъ и черезъ нѣсколько минутъ мы съ Леной уже входили въ зданіе Луврскаго музея.

Вы знаете, что я всегда любилъ и до сихъ поръ люблю посѣщать картинныя галлереи, музеи и всякаго рода художественныя собранія. Подходя къ нимъ, я предвкушаю удовольствіе, которое меня тамъ ожидаетъ; но въ преддверіи Лувра, такъ же какъ и на лѣстницѣ Ватикана, я всегда испытываю совершенно особое чувство. Произведенія искусства, въ нихъ собранныя, разнообразны и любопытны въ высшей степени; но надъ ихъ множествомъ, надъ ихъ пестрой толпой въ сознаніи моемъ одиноко возвышается нѣсколько такихъ могучихъ, такихъ ни съ чѣмъ другимъ несравнимыхъ созданій человѣческаго генія, передъ которыми я преклоняюсь въ почтительномъ благоговѣніи. Созданія эти для меня уже не картины и не мраморы, а живыя, обитающія тутъ, существа, издавна мнѣ знакомыя, издавна мною любимыя и всегда встрѣчающія мое къ нимъ возвращеніе съ величественною благосклонностью, въ блескѣ неизмѣнной, внѣ вліянія пространства и времени пребывающей, красоты.

Входя съ Леною въ Лувръ, я не могъ не подѣлиться съ нею этимъ чувствомъ, къ которому въ данномъ случаѣ еще примѣшивалась радость ввести Лену въ общеніе съ дорогими мнѣ старыми друзьями, показать не только ихъ Ленѣ, но и Лену имъ, подсмотрѣть не только ея впечатлѣніе, но также и подслушать, что̀ они мнѣ объ ней скажутъ. Не скрою,—я нѣсколько боялся этого, такъ сказать, экзамена Лены, боялся испытать разочарованіе, встрѣтивъ въ ней или откровенное равнодушіе, или—что̀ было бы еще хуже—безпрекословное подчиненіе общепринятымъ мнѣніямъ, а также и моимъ сужденіямъ, которыя для нея, жившей до того времени совершенно внѣ области искусства, могли казаться авторитетными.

Лена сразу разсѣяла эти опасенія. Когда, указавъ на двѣ извѣстныя фрески Ботичелли, помѣщенныя по стѣнамъ главной лѣстницы, по обѣимъ сторонамъ входныхъ дверей, я началъ было разсуждать о томъ, что̀ именно привлекаетъ и поражаетъ меня въ произведеніяхъ этого художника, Лена меня остановила.

— Послушайте, у меня къ вамъ будетъ большая просьба,—сказала она съ заискивающей и нѣсколько лукавой улыбкой; по выраженію этой улыбки я тотчасъ же догадался въ чемъ дѣло.

— Вы не хотите, чтобы я высказывалъ своего мнѣнія прежде, чѣмъ вы сами не составите вашего собственнаго,—подсказалъ я.

— Да, вотъ именно; вы меня водите, показывайте и только потомъ, когда я посмотрю и по-

думаю, тогда и вы скажете, что̀ вы думаете. Такъ будетъ лучше.

При этомъ Лена показала мнѣ крошечную записную книжку съ карандашомъ, которую до тѣхъ поръ держала зажатою въ рукѣ.

— Я даже хотѣла записывать, какія картины мнѣ самой больше всего понравятся; но вы, пожалуй, будете надо мной смѣяться.

— Браво, графиня!—воскликнулъ я, —вы въ совершенно новомъ для васъ дѣлѣ захотѣли и сумѣли остаться хозяйкой; охотно подчиняюсь вашему требованію и буду безмолвствовать до тѣхъ поръ, пока вы сами мнѣ не прикажете говорить.

Конечно, въ это посѣщеніе мы успѣли обойти Лувръ только на̀скоро и преимущественно останавливали вниманіе на итальянцахъ; конечно, въ записную книжку Лены попали самыя неожиданныя для меня картины. Любимые мною итальянскіе примитивы промелькнули почти незамѣченными, за исключеніемъ, однако, Мадонны Чемабуэ, напомнившей Ленѣ Богоматерь Васнецова, которую она почему-то хорошо запомнила.

— Такіе же строгіе, печальные, широко раскрытые глаза, какъ у той,—замѣтила Лена, застоявшись передъ картиной.

— Вы внесете ее въ книжку?—полюбопытствовалъ я.

— Еще не знаю. Отъ нея вѣетъ какимъ-то холодомъ,—отозвалась Лена.

— То есть святостью и добродѣтелью,—поправилъ я.

Лена нахмурилась; ей, очевидно, не понравились мои слова.

— Святость и добродѣтель не одно и то же, что холодъ... холодъ скученъ.

— А развѣ святость и въ особенности добродѣтель не скучны?

— Нѣтъ, не скучны,—рѣзко возразила Лена и, опять пристально посмотрѣвъ на ликъ Мадонны, стала записывать ее въ книжку.

— За какое достоинство? за холодъ? — спросилъ я.

— Не за холодъ, а за то, что она напомнила мнѣ хорошее время,—отвѣтила Лена, продолжая медленно выводить карандашомъ буквы.

— Какое же это время?—не совсѣмъ деликатно спросилъ я.

Лена сухо, какъ бы свысока взглянула на меня, но все же отвѣтила.

— Я только что тогда вышла замужъ; мы послѣ свадьбы вдвоемъ съ мужемъ поѣхали изъ деревни повеселиться въ Кіевъ и, когда объѣзжали кіевскія достопримѣчательности, я въ первый разъ увидала въ соборѣ Богоматерь Васнецова. Вотъ это-то хорошее... очень хорошее время мнѣ и вспомнилось теперь передъ этой Мадонной.

Не отъ Мадонны, а отъ самой Лены внезапно повѣяло на меня зимней стужей. Разговоръ палъ самъ собою, и мы молча перешли въ знаменитую Sale Carée, гдѣ между прочимъ висятъ Леонардовское Святое Семейство и его Джоконда. Я съ особымъ любопытствомъ ожидалъ, какое впечатлѣніе

они произведутъ на Лену; но послѣ неожиданнаго оборота, который принялъ нашъ краткій, только что приведенный разговоръ, мнѣ вдругъ стало какъ-то безразлично. Не все ли мнѣ равно, что̀ понравится, или не понравится Ленѣ? Вѣдь объ этомъ посѣщеніи со мной Лувра она, конечно, никогда потомъ не будетъ вспоминать, какъ объ очень хорошемъ времени.

Я сѣлъ на стоящую посреди залы скамью, предоставивъ Ленѣ одной осматривать развѣшанныя по стѣнамъ картины—и такъ глубоко я задумался, такъ я вдругъ почувствовалъ свое одиночество, что не замѣтилъ, какъ прошло довольно много времени, какъ Лена, должно быть, обойдя вокругъ всю залу, сѣла рядомъ со мной, и очнулся только, когда она, обратившись ко мнѣ и указывая рукой на Джоконду, спросила меня странно измѣнившимся голосомъ: «что это такое»?

Я равнодушно посмотрѣлъ по направленію ея руки.

— Леонардовскій портретъ Моны Лизы, иначе называемой Джокондой,—отвѣчалъ онъ.

— Я знаю, тамъ это написано—перебила меня Лена,—я спрашиваю васъ: что это такое? т.-е. что Леонардъ хотѣлъ этимъ сказать? Что хотѣлъ изобразить въ чертахъ этой...

Лена остановилась, пріискивая выраженіе.

— ...Этой страшной женщины?—выговорила она, наконецъ.

— Во всякомъ случаѣ не святость и не добродѣтель—сорвалось у меня съ языка.

— Не капризничайте—нетерпѣливо замѣтила мнѣ Лена,—вы обѣщали отвѣчать на мои вопросы, а то, что вы говорите—не отвѣтъ.

Мнѣ стало совѣстно передъ самимъ собой за чувство, проявленіе котораго Лена назвала капризничаніемъ.

— Пойдемте,—сказалъ я, вставая со скамьи и стараясь подавить въ себѣ это чувство,—я покажу вамъ еще нѣкоторыя картины того же Леонарда и, когда вы въ нихъ хорошо всмотритесь, тогда мы поговоримъ.

Я подвелъ Лену къ висящему въ противоположномъ углу той же залы Святому Семейству и попросилъ обратить особенное вниманіе на выраженіе лица святой Анны; а затѣмъ мы прошли въ сосѣднюю длинную залу и остановились передъ изображеніями сначала Вакха, а затѣмъ Іоанна Крестителя.

— Однако почему же это Іоаннъ Креститель?—спросила Лена.

— Видите, въ рукѣ онъ держитъ догматическую свою эмблему—высокій, съ короткой перекладиной наверху крестъ.

— Да, но, все-таки, это то же самое лицо, какъ у Вакха и совсѣмъ не подходитъ подъ типъ пророка.

— Можетъ быть, первоначально Леонардъ задумалъ написать и на этомъ полотнѣ вовсе не Предтечу Христа, а бога вина и наслажденія и уже только потомъ вложилъ ему въ руку крестъ; это не существенно. Главное дѣло въ томъ, что въ

прекрасномъ, полуженственномъ, съ вызывающимъ взглядомъ лицѣ этого юноши, какъ и въ лицѣ Анны, нѣжно держащей дочь свою, Богоматерь, на колѣняхъ и въ то же время какъ будто надъ нею и подсмѣивающейся, какъ и во всѣхъ почти написанныхъ Леонардомъ лицахъ, повсюду сквозитъ одна и та же черта, одна и та же мысль, если хотите, одинъ и тотъ же идеалъ, жившій въ душѣ самаго Леонарда и съ наибольшей полнотой воплощенный имъ въ изображеніи той страшной, какъ вы сказали, женщины — Джоконды.

Лена внимательно меня слушала.

— Что же это за идеалъ? Какъ его назвать? — спросила она, когда я умолкъ, не досказавъ того, что съ такою настоятельностью она хотѣла себѣ выяснить.

— Ахъ, графиня, это очень старый и очень могущественный идеалъ! Еще праотцевъ нашихъ въ раю имъ соблазнилъ древній, библейскій змій; а зовутъ его — вкушеніе запретнаго плода отъ древа познанія добра и зла. Вся тайна обаянія Леонардовскихъ лицъ и въ особенности Джоконды въ томъ и заключается, что они носятъ на себѣ печать этого сатанинскаго познанія, этой силы, этого превосходства надъ прочими смертными, надъ толпой, надъ всѣми нами, которые этой силой, этимъ познаніемъ не обладаемъ и даже ихъ боимся...

— Я хочу ее еще видѣть, — сказала Лена и, вернувшись въ Sale Carée, мы опять остановились передъ Джокондой.

— Вы сказали, что Анна въ Святомъ Семействѣ смѣется надъ Богоматерью; а эта (Лена съ какой-то враждебностью кивнула головой на Джоконду, не отрывая, однако, отъ нея взгляда)—эта, кажется, надъ самимъ Богомъ смѣется и надъ всѣмъ, что только есть свѣтлаго и добраго на свѣтѣ и надъ всѣми людьми... и надо мною съ вами тоже навѣрно смѣется... что мы тутъ теперь передъ ней стоимъ и не можемъ уйти, все на нее любуемся, хоть она и страшная.

— Страшное-то и манитъ; за нимъ вѣдь прячется счастье,—сказалъ я.

— Или погибель, — добавила Лена, исподлобья взглянувъ на меня.

И я... да, кажется, и Лена, — мы оба почувствовали въ эту минуту, что думаемъ и говоримъ уже не о Леонардовской картинѣ, а о чемъ-то другомъ, касающемся насъ самихъ, о какомъ-то внезапно явившемся передъ нами еще смутномъ, но прекрасномъ и волшебномъ призракѣ, который, подобно этой Джокондѣ, и пугалъ, и манилъ насъ своей загадочной красотой, и съ вызывающей усмѣшкой смотрѣлъ намъ прямо въ глаза.

— Уйдемте, сказала Лена, — съ меня на сегодня довольно.

— Уйдемте; только вы, кажется, забыли вписать страшную женщину въ вашу книжку, — напомнилъ я.

— А вы думаете, что я ее впишу?.. Нѣтъ, не знаю... во всякомъ случаѣ не сейчасъ; подумаю еще.

— Если впишите, вы мнѣ скажете?

— Конечно, скажу; только прежде чѣмъ это сдѣлать, надо будетъ вычеркнуть Мадонну Чемабуэ; вмѣстѣ имъ быть нельзя: или Мадонна, или Джоконда.

— Я за Джоконду.

— А я пока за Мадонну, —задумчиво произнесла Лена.

И на этихъ словахъ мы закончили наше обозрѣніе Лувра, спустились съ лѣстницы и, выйдя на улицу, разстались. Лена, подъ предлогомъ утомленія отъ ходьбы по обширнымъ заламъ музея, не захотѣла возвращаться со мною домой пѣшкомъ и сѣла въ одинъ изъ стоявшихъ передъ подъѣздомъ фіакровъ, а я, подсадивъ ее въ экипажъ и въ первый разъ почему-то поцѣловавъ ея, одѣтую въ перчатку, руку, побрелъ въ раздумьѣ своей дорогой.

V.

Въ отношеніяхъ между сходящимися въ жизни людьми — и въ особенности между мужчинами и женщинами — почти всегда наступаетъ, спустя нѣкоторое время послѣ перваго знакомства, какой-то роковой часъ, большею частію вовсе даже не отмѣченный какимъ-либо особенно яркимъ, бросающимся въ глаза дѣйствіемъ, или событіемъ,—когда послѣ случайно проявившагося движенія души, или взаимно перекинутыхъ нѣсколькихъ, болѣе или менѣе знаменательныхъ словъ, часто безсознательно,

но всегда безповоротно рѣшается вопросъ: быть дальнѣйшему сближенію, или не быть?

Мною, относительно Лены, этотъ вопросъ, какъ я уже сказалъ ранѣе, былъ рѣшенъ давно; но въ Ленѣ онъ возникъ и разрѣшился, повидимому, только послѣ Лувра. Впечатлѣнія, которыя мы тамъ совмѣстно испытали, и слова, которыми обмѣнялись, придали именно этому нашему свиданію значеніе перепутья, послѣ котораго Лена должна была или свернуть отъ меня въ сторону и постепенно отдалиться, или пойти дальше впередъ тою же дорогой, допустивъ въ то же время, чтобы и я пошелъ рядомъ съ ней.

Лена склонилась къ послѣднему рѣшенію; это я почувствовалъ тотчасъ же, когда увидалъ ее на слѣдующій день.

Проходя по коридору гостиницы мимо помѣщенія, гдѣ жилъ Пахтуровъ, я сквозь неплотно притворенную дверь услыхалъ мужскіе голоса и оживленные разговоры. Избѣгая новыхъ знакомствъ, я не завернулъ къ старику и направился прямо къ графинѣ.

— Вы зачѣмъ сегодня пришли? — встрѣтила она меня откровенно-досадливымъ восклицаніемъ.

— Какъ зачѣмъ? Чтобы васъ видѣть...

— Меня-то сегодня и не увидите... то есть почти не увидите; я сейчасъ должна выѣхать и вернусь не скоро. Отецъ дома, но онъ назвалъ къ себѣ цѣлое общество какихъ-то проѣзжихъ русскихъ моряковъ и военныхъ; вы съ ними соскучитесь... Неужели онъ звалъ и васъ?

— Нѣтъ, не звалъ. Я пришелъ собственно къ вамъ, чай пить.

— Вотъ досада-то! Что̀ мнѣ теперь съ вами дѣлать? Я никакъ не могу остаться дома...

— Очень просто,—сказалъ я, — дайте мнѣ вашу руку, я ее поцѣлую и уйду.

— Уйти вы теперь можете и руку мою поцѣловать тоже, если это доставляетъ вамъ удовольствіе,— отвѣтила Лена съ оттѣнкомъ такой простоты и такого дружелюбія въ голосѣ, какихъ я до тѣхъ поръ въ обращеніи ея со мною еще не замѣчалъ. — Но, — добавила она,—отпускаю васъ подъ условіемъ, чтобы несостоявшійся нашъ дневной чай былъ перенесенъ на сегодняшній же вечеръ. Я буду послѣ обѣда совершенно свободна, уложу дѣтей спать и мы съ вами, никуда не торопясь, посидимъ и побесѣдуемъ; такъ хорошо будетъ. Кстати, мнѣ хотѣлось бы серьезно поговорить съ вами объ одномъ предметѣ, который меня занимаетъ. Придете?

— Конечно, приду. Только не могу ли я узнать теперь же, что̀ это за предметъ, васъ занимающій, о которомъ вы хотите со мною серьезно говорить. Боюсь оказаться въ немъ несвѣдущимъ.

— Я увѣрена, — возразила Лена, — что въ немъ-то вы именно и свѣдущи и скажете мнѣ самое вѣрное, самое настоящее слово. Я его отъ васъ жду.

Пріятно польщенный такою увѣренностью во мнѣ со стороны Лены, я тѣмъ болѣе сталъ настаивать на своемъ вопросѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, уходите пожалуйста, —перебила она меня, — вы меня задерживаете идти одѣваться; я и такъ опоздала и мнѣ опять попадетъ.

— Попадетъ, отъ кого? — изумился я.

— Отъ мужа, разумѣется.

— И часто вамъ отъ него попадаетъ?

— Довольно часто; но, надо сознаться, почти всегда за дѣло. Онъ любитъ точность, акуратность, а я — вы видите, какая я вѣтреница.

— Совсѣмъ я этого не вижу; въ чемъ ваша вѣтренность?

— Какъ, въ чемъ? — разсмѣялась Лена, — да, вотъ хоть бы въ эту самую минуту: мужъ хлопочетъ, ѣздитъ по всему Парижу, пріискиваетъ старинную мебель для меня—то есть для моей варшавской гостиной; мы условились съ нимъ сегодня поутру съѣхаться въ магазинѣ и рѣшить вопросъ о покупкѣ какихъ-то удивительныхъ креселъ; я должна бы теперь уже тамъ быть, а вмѣсто того,—вы видите, — я все еще дома, стою здѣсь и болтаю съ вами.

— Вы не о старинной ли мебели собираетесь говорить со мной? — полюбопытствовалъ я, — въ мебели я не знатокъ и даже ту, которую унаслѣдовалъ отъ предковъ, — продалъ.

— О нѣтъ, не о мебели,—успокоила меня Лена,— совсѣмъ о другомъ, и гораздо болѣе интересномъ и важномъ для меня, чѣмъ мебель.

— Графиня! — взмолился я,—вы возбуждаете въ высшей степени мое любопытство. Тутъ даже и не одно любопытство. Я такъ польщенъ и такъ до-

рожу только что выраженнымъ вами мнѣніемъ обо мнѣ, что не оправдать его было бы для меня не только обидой, но почти несчастіемъ.

По выраженію лица Лены я замѣтилъ, что послѣднія мои слова, въ свою очередь, польстили и ея женскому самолюбію. Она перестала выказывать торопливость, мягко на меня взглянула и продолжала слушать.

— Вы сказали, что хотите услыхать мое мнѣніе о предметѣ интересномъ и даже важномъ для васъ; дайте же мнѣ возможность напередъ подумать и хоть нѣсколько приготовиться, чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ и не сказать какой-нибудь банальной глупости.

— Банальной глупости вы, положимъ, не скажете, — замѣтила Лена.

— Очень вамъ благодаренъ за такую увѣренность, но во всякомъ случаѣ я отсюда рѣшительно не уйду, пока вы, хоть въ двухъ словахъ, не объясните мнѣ, въ чемъ дѣло.

— Какой, однако, вы несносный упрямецъ! — воскликнула Лена. — Ну, извольте, такъ и быть, объясню; только безъ всякихъ подробностей и вопросовъ. Я хочу говорить съ вами о Вагнерѣ, хочу узнать, любите ли вы его музыку и, вообще, какого вы о немъ мнѣнія?

— А вы сами его любите?

— Вотъ уже и вопросъ... впрочемъ, на него я вамъ, пожалуй, еще отвѣчу: не могу ни любить, ни не любить Вагнера, потому что почти его не

знаю. Слышала кое-какіе отрывки въ концертахъ, одинъ разъ въ Петербургѣ видѣла «Лоэнгрина»...

— Почему же васъ теперь вдругъ заинтересовалъ Вагнеръ?

Лена улыбнулась.

— Вотъ видите ли,—заговорила она, потупивъ глаза,—во-первыхъ, все вообще, что касается искусства стало для меня въ послѣднее время какъ-то ближе и важнѣе, чѣмъ прежде; а помимо того—вчера у насъ здѣсь за обѣдомъ произошелъ споръ между... между двумя пріятелями мужа—однимъ французомъ и полякомъ. Вы ихъ обоихъ не знаете и поэтому называть ихъ не стоитъ. Скажу только, что французъ—умный, образованный, симпатичный господинъ, кажется, большой знатокъ въ музыкѣ и горячій поклонникъ Вагнера.

— А полякъ?—освѣдомился я.

Лена не отвѣтила.

— Въ чемъ же состоялъ ихъ споръ?—поспѣшилъ я замять мой вопросъ, догадавшись, что полякъ былъ никто иной, какъ самъ графъ Броневскій.

— Французъ говорилъ,—стала объяснять Лена,—что Вагнеръ одинъ изъ величайшихъ геніевъ человѣчества. Особенно восторгался онъ оперою «Tristan et Isolde», и судя по тому, что̀ онъ о ней говорилъ, это дѣйствительно должно быть что-то удивительное... Ему возражали... впрочемъ, все равно, что ему возражали; это не интересно... Мнѣ хочется услышать теперь ваше мнѣніе. Только, ради Бога,—спохватилась опять Лена,—не выска-

зывайте его сейчасъ; мнѣ вѣдь въ самомъ дѣлѣ некогда. Вечеромъ увидимся, поговоримъ...

Лена сдѣлала движеніе по направленію къ выходу.

— Позвольте, графиня, остановить васъ еще лишь на одну минуту; я долженъ васъ предупредить, хотя бы подъ опасеніемъ вашего гнѣва, что ни сейчасъ, ни сегодня вечеромъ я вамъ моего мнѣнія о Вагнерѣ не выскажу.

— Почему?—удивленно спросила Лена.

— Потому же, почему вчера въ Луврѣ я не отвѣтилъ сразу на вашъ вопросъ о Леонардѣ, а повелъ сначала посмотрѣть на его картины. О произведеніяхъ искусства, а тѣмъ болѣе о произведеніяхъ такихъ художниковъ, какъ Леонардъ, или Вагнеръ, совсѣмъ нельзя говорить съ тѣми, кто ихъ не знаетъ. Вашъ симпатичный французъ, по моему мнѣнію, совершенно правъ: Вагнеръ дѣйствительно великъ и его «Тристанъ» дѣйствительно такая вершина художественнаго творчества, далѣе которой и идти, кажется, уже некуда; но что же изъ этого слѣдуетъ? Какой опредѣленный смыслъ всѣ эти громкія фразы и восторженныя похвалы могутъ имѣть для васъ, пока вы Вагнера не слыхали и не знаете? Что̀ бы я вамъ теперь про него ни сказалъ—все будутъ одни пустыя слова, салонная болтовня, которою, извините меня, я именно съ вами заниматься не хочу; а если бы и захотѣлъ, то не могъ бы: мнѣ стало бы за васъ и за себя стыдно.

— Спасибо вамъ за то, что вы такъ ко мнѣ относитесь, хотя собственно и не понимаю, почему?—съ добродушнымъ недоумѣніемъ отозвалась Лена.--Чѣмъ я могу отличаться въ вашемъ мнѣніи отъ всѣхъ другихъ женщинъ? Я вѣдь не только въ обществѣ, но и въ самомъ простомъ разговорѣ съ-глазу на-глазъ совершенно неспособна блистать ни умомъ, ни образованіемъ, ни яркимъ краснорѣчіемъ; я вѣдь совсѣмъ сѣренькая. А въ томъ, что вы не хотите со мною говорить теперь о Вагнерѣ, вы, можетъ быть, и правы. Если бы, напримѣръ, вчера, вы не показали мнѣ сначала Святое Семейство, Вакха и Іоанна Крестителя, я, конечно, не могла бы понять того, что вы потомъ сказали о Леонардѣ и Джокондѣ, то есть не могла бы понять такъ хорошо, такъ ясно, какъ я понимаю теперь. Ваше опредѣленіе до сихъ поръ у меня изъ головы не выходитъ.

— Радъ, что вы не только на меня не гнѣваетесь, но даже со мной согласны.

— Однако, все-таки: какъ же быть? Вѣдь я упряма не менѣе васъ и не отстану, пока вы такъ же ясно и хорошо, какъ Леонарда, не опредѣлите мнѣ Вагнера.

— Могу только повторить, что̀ уже сказалъ: познакомьтесь съ его музыкой. Въ Парижѣ часто даютъ «Тангейзера» и «Валкирію». Начните съ нихъ. Узнайте, когда ихъ будутъ давать въ театрѣ, возьмите ложу и поѣзжайте.

— А Тристана?

— Къ сожалѣнію «Тристанъ» въ этомъ году, кажется, здѣсь не будетъ поставленъ.

— Но послѣ того, что вы о немъ сказали, его-то больше всего я и хочу слышать.

Лена, очевидно, совсѣмъ позабыла, что ей нужно торопиться, что она еще не одѣта, что мужъ ждетъ ее въ мебельномъ магазинѣ.

— Хоть ты и сѣренькая, — подумалось мнѣ, глядя на Лену, какъ она, склонивъ нѣсколько голову съ выбившеюся случайно изъ-подъ прически на лобъ тонкой прядью темныхъ волосъ и сложенными, опущенными руками, стояла передо мной въ простенькомъ, дѣйствительно сѣромъ шерстяномъ платьѣ, охватывавшемъ плотно ея молодой станъ,—хоть ты и сѣренькая, но, будь я самъ художникъ, не сталъ бы я, кажется, искать другого лучшаго судью моихъ произведеній и твою похвалу цѣнилъ бы выше одобреній и похвалъ всего міра.

И въ это мгновеніе такъ обаятельна показалась мнѣ Лена, такимъ оживленіемъ дышали всѣ черты ея нѣсколько разгорѣвшагося лица, такимъ милымъ задоромъ свѣтился ея взглядъ,—то устремленный прямо на меня, то вновь исчезавшій за дрожащими, опущенными рѣсницами,—что я, какъ говорится, не выдержалъ характера и тоже, совершенно позабывъ только-что высказанные мною съ такою убѣдительностью доводы, спросилъ:

— Вы знаете итальянскую музыку и музыку Моцарта?

— Знаю,—отвѣчала Лена,—и очень люблю.

— Тѣмъ лучше... такъ слушайте же: итальянская музыка, какъ и музыка Моцарта, даже отчасти Бетховена, въ ранніе его годы, это почти сплошь—ясные, лѣтніе, солнечные дни; вся эта музыка—въ лучахъ, въ цвѣтахъ и зелени, вся въ пѣсняхъ и праздникѣ молодой, здоровой, откровенно-шумящей жизни. Музыка Вагнера и въ особенности его «Тристанъ»—это ночь, безлунная, темная, волшебная ночь: вся въ звѣздахъ, сверкающихъ вдохновенными взглядами—такими, вотъ, какъ вашъ теперь — вся въ шепотахъ и лобзаніяхъ невидимыхъ устъ, въ трепетаніи неосязаемыхъ крылъ, вся въ зноѣ неугасимаго недуга и въ бредѣ торжествующей страсти. Что выше, что прекраснѣе, что желаннѣе—рядъ такихъ свѣтлыхъ, чистыхъ, праздничныхъ дней, или одна такая темная ночь—кто разрѣшитъ этотъ вопросъ? Я, во всякомъ случаѣ, разрѣшать его за васъ не берусь. Вслушайтесь въ Вагнера, поймите, переживите его—и тогда судите сами.

Нѣсколько мгновеній мы простояли молча другъ противъ друга.

— Вотъ, вы и сдѣлали опредѣленіе Вагнера,—тихо проговорила, наконецъ, Лена,—и такое опредѣленіе, котораго я даже, совсѣмъ Вагнера не зная, кажется, поняла и, конечно, не забуду.—Еще разъ спасибо вамъ... Вечеромъ все-таки приходите, я буду васъ ждать...

И, не подавъ мнѣ руки, Лена прошла въ сосѣднюю комнату.

На лѣстницѣ гостиницы я повстрѣчался съ графомъ Броневскимъ. Онъ былъ блѣденъ и раздраженъ.

— Вы были у тестя, или у жены?—съ непріятною, почти грубою рѣзкостью въ голосѣ спросилъ онъ, уставивъ на меня неподвижный взглядъ и до неприличія холодно отвѣчая на мое рукопожатіе.

— Я отъ графини,—удовлетворилъ я его любопытство,—она, кажется, собирается сейчасъ выѣхать.

Графъ принужденно улыбнулся, сдѣлалъ движеніе, похожее на поклонъ, и мы разошлись.

VI.

Бесѣда съ Леной за вечернимъ чаемъ, какъ это часто случается, когда чего-нибудь ждешь заранѣе съ особеннымъ нетерпѣніемъ, совершенно не удалась. Пахтуровъ и графъ, въ противность принятой ими въ Парижѣ привычкѣ, оба остались вечеромъ дома. Графъ старался быть со мною утонченно любезенъ, угощалъ какими-то нарочито выписанными изъ Египта, душистыми папиросами, и улыбка не сходила съ его лица. Вѣроятно, онъ желалъ изгладить непріятное впечатлѣніе, которое я могъ вынести отъ послѣдней встрѣчи съ нимъ на лѣстницѣ. Пахтуровъ, подъ вліяніемъ выпитаго за обѣдомъ вина, былъ шуменъ и болтливъ; онъ ходилъ, закинувъ руки за спину, съ сигарою въ зубахъ, взадъ и впередъ по комнатѣ,

назойливо выпучивая графа по поводу каждаго произносимаго имъ слова и притомъ обращаясь почему-то всегда ко мнѣ за поддержкой и одобреніемъ: «не правда ли?.. вѣдь такъ?.. вы согласны?»— восклицалъ онъ. Графу это было, очевидно, непріятно. Лена тоже была не въ своей тарелкѣ; отъ времени до времени она смущенно и какъ бы извиняясь въ чемъ-то, взглядывала на меня, давъ понять, въ первыхъ же обращенныхъ ко мнѣ словахъ, что ни о чемъ изъ заранѣе предположеннаго говорить при этихъ условіяхъ нельзя. Такъ вечеръ этотъ и прошелъ безъ всякаго даже упоминанія о Вагнерѣ, и всѣ мы разошлись, нѣсколько недовольные другъ другомъ.

Два дня спустя я получилъ отъ Лены записку:

«Сегодня вечеромъ идетъ Тангейзеръ — писала она,—у меня есть ложа. Кромѣ насъ троихъ, т.-е. отца, мужа и меня, будетъ еще, по приглашенію мужа, тотъ французъ, о которомъ я вамъ недавно говорила. Приходите, пожалуйста. Очень хотѣлось бы послушать Вагнера вмѣстѣ».

«Хорошо это «вмѣстѣ» — не безъ досады подумалъ я, вспомнивъ неудавшійся вечеръ и въ отвѣтѣ своемъ, поблагодаривъ графиню за любезное приглашеніе, извинился, откровенно объясняя, что всегда предпочиталъ и на этотъ разъ тоже предпочту слушать вагнеровскую музыку изъ партера. Хоть это и не очень любезно, но Лена пойметъ меня и не разсердится,—успокоилъ я себя, отправляя письмо, и, дѣйствительно, уже по тому, какъ графиня, войдя въ ложу и замѣтивъ издали

мой поклонъ, съ улыбкой кивнула мнѣ головой, я увидалъ, что, несмотря на мой отказъ, мы съ нею остались прежними друзьями.

Два черномазыхъ, куклообразныхъ француза, стоя передъ своими креслами рядомъ со мною, обозрѣвали ложи.

— Qui est ça? — спросилъ ближайшій ко мнѣ своего товарища, указавъ на Лену.

Оба устремили бинокли по направленію къ ложѣ Броневскихъ.

— Je reconnais l'un des messieurs; c'est le comte Bronewsky, — сказалъ товарищъ, не опуская бинокля,—quant à la dame—connais pas. Il se peut que cela soit sa femme, on le dit marié à une Russe.

— Une Russe? ça ce voit: elle n'a pas le chic polonais.

— Bah! quand même: très fraiche, de jolis yeux, de bonnes grasses lèvres qui promettent.

— Мнѣ стало такъ противно это разглядываніе Лены, что я чуть не всталъ и не ушелъ изъ театра. По счастію, въ оркестрѣ раздался стукъ капельмейстерской палочки; сосѣди мои, перекинувшись шопотомъ еще какими-то, должно быть, уже совершенно непристойными словами, похихикавъ, усѣлись на свои мѣста,—и зала огласилась звуками увертюры, сразу заставившими умолкнуть говоръ и шумъ сбродной театральной толпы.

Я откинулся къ спинкѣ кресла и сталъ слушать съ особенно почему-то напряженнымъ вниманіемъ.

«Вотъ онъ,—думалось мнѣ,—тотъ торжественный гимнъ, какъ бы сливающій всѣ человѣческія

чувства, желанія и помыслы въ одну вдохновенную молитву, медленно, кадильнымъ дымомъ возносящуюся отъ земли къ небесамъ. Кажется, ничто не можетъ нарушить величаво-спокойнаго, строгаго, святого настроенія этой молитвы; кажется, никто не властенъ смутить и прервать этого непосредственнаго обращенія вѣрующей человѣческой души къ всемогущему, безсмертному Божеству... И вдругъ... что же это такое?.. словно вихри кудрявые набѣжали и закружились въ воздухѣ; словно огненныя змѣйки засверкали и засуетились передъ глазами. Гдѣ же небо?—Его уже не видно. Гдѣ молитвенный гимнъ?—Онъ оборвался и смолкъ. Только слышится странный, возбуждающій шумъ какой-то дикой, инфернальной пляски, только раздаются призывы и вопли какой-то охмеляющей, вакхической оргіи. Изъ смуты и безумія этой оргіи, какъ вырвавшаяся на свободу изъ клѣтки птица, внезапно вылетаетъ новая пѣсня; эта пѣсня—тоже голосъ человѣческой души; но какъ она не похожа на молитву! Какая въ ней звучитъ вольная, крылатая, осчастливленная страсть! Нѣтъ ей преграды, нѣтъ ей запрета! — и опять кажется, будто никакая сила въ мірѣ не можетъ одолѣть ея властнаго навожденія, противостоять ея буйной удали, погасить ея грѣховнаго, всепожирающаго пламени. А между тѣмъ нѣтъ! — смолкаетъ и она. Послѣ недолгаго оцѣпенѣнія, въ глубинѣ пробудившагося сознанія, воскресаютъ звуки прерванной молитвы; они слышатся вновь громко и явственно; они плывутъ въ ширь, они разростаются... Да! — вотъ онъ опять,

молитвенный гимнъ, такой же торжественный, какъ и прежде, когда аккорды его раздались впервые; но зачѣмъ теперь эти аккорды звучатъ не одни, не въ строгой, величаво-спокойной святости своей и чистотѣ? Зачѣмъ одновременно и рядомъ съ ними, не прерываясь, не давая ни на одно мгновеніе душѣ покоя, упрямо, назойливо, неумолимо продолжаютъ откуда-то, изъ какой-то адской бездны, доноситься взвизгиванія и стенанія вакханаліи? Неужели однажды услышанная, однажды испытанная, она не забудется уже никогда? Неужели въ вѣчной борьбѣ съ молитвою и непобѣжденная ею, она будетъ кощунственно посылать и свои вопли тоже къ небесамъ и обѣ вмѣстѣ—и молитва и оргія,—смолкнутъ лишь тогда, когда и вся загадка жизни разрѣшится заключительнымъ созвучіемъ всепримиряющаго, всепрощающаго конца?»

Я повернулъ голову въ сторону Лены и передъ поднятіемъ занавѣси, пока зрительный залъ не погрузился еще во мракъ, успѣлъ отчетливо разглядѣть ее сквозь бинокль. Она сидѣла неподвижно, облокотясь на рампу ложи и съ недоумѣвающимъ, какъ мнѣ показалось, но спокойнымъ вниманіемъ смотрѣла на сцену.

— Не поняла... да и не могла понять! — мелькнуло у меня въ головѣ, — да и пойметъ ли когда-нибудь? да и нужно ли, наконецъ, желательно ли, чтобы Лена когда-нибудь поняла все, что сейчасъ такъ громко прокричали эти звуки? Не будетъ ли она счастливѣе, не блаженнѣе ли протекутъ ея дни, если непримиримыя противорѣчія жизни не

посмѣютъ встать передъ ея глазами? если всѣ эти, лишь изрѣдка раскрывающіяся передъ внутреннимъ созерцаніемъ художника, глубины и бездны человѣческой души навсегда останутся для нея неразгаданною и даже неподозрѣваемою тайной?

Вопросы эти, въ первый разъ возникнувъ во мнѣ и оставаясь безъ отвѣта, приводили меня въ какое-то безпокойное, почти тревожное состояніе. Не слѣдя болѣе за представленіемъ и почему-то избѣгая въ то же время смотрѣть и на Лену, я чувствовалъ себя какъ бы въ чемъ-то передъ нею виноватымъ. Это чувство, преслѣдуя меня во все продолженіе первыхъ сценъ и не давая мнѣ покоя, исчезло только тогда, когда въ антрактѣ, послѣ знаменитаго состязанія пѣвцовъ, я рѣшился, наконецъ, войти въ ложу Броневскихъ. Пахтуровъ и графъ не были въ то время въ ложѣ. На-лицо находился только французъ. Подходя къ Ленѣ, я почти ее не узналъ. Какъ не похожа была пѣсня Тангейзера на гимнъ пилигримовъ, такъ графиня въ своей раскрытой для всѣхъ взоровъ, вызывающей красотѣ, въ бѣломъ вырѣзномъ платьѣ съ брилльянтами въ волосахъ и на груди, въ собольемъ боа, черной змѣей обвивавшемъ ея обнаженныя плечи и руки,— не похожа была на ту прислоненную по-дѣтски къ плечу отца Лену, отъ которой такъ еще недавно повѣяло на меня росистымъ утромъ и пѣніемъ деревенскихъ жаворонковъ, которая потомъ въ Луврѣ предпочла Джокондѣ—Мадонну и, наконецъ «сѣренькая» стояла передо мной, недоумѣвая, чѣмъ она можетъ отличаться отъ всякой другой, самой обыкновенной женщины?

Эта женщина — успокоилъ я себя, подсаживаясь теперь къ графинѣ и въ первый разъ близко ее разглядывая, именно, какъ женщину—эта Лена должна познать все обаяніе, всю власть своей красоты, должна извѣдать все безуміе и своей, и внушенной ею страсти! Слишкомъ полное, слишкомъ рѣдкое на землѣ счастье можетъ она взять себѣ у судьбы въ часы такого безумія, чтобы останавливаться передъ цѣной какого бы то ни было искупленія.

Не дослушавъ горячую тираду француза о прелести послѣдней сцены, Лена представила насъ другъ другу и, тутъ же отъ него отвернувшись, обратилась ко мнѣ съ упрекомъ, что я отказался отъ ея приглашенія въ ложу.

— Я не думала, что вы такой эгоистъ,—сказала она, — впрочемъ, на этотъ разъ я вамъ прощаю. Когда нибудь послушаемъ вмѣстѣ «Тристана»,—и, оглядывая меня съ головы до ногъ, добавила,—но какой же вы странный—въ этомъ фракѣ... бѣломъ галстукѣ... Совсѣмъ другой, чужой человѣкъ.

— И васъ, графиня, я почти не узнаю; вы тоже чужая.

— Что же? будемте опять знакомиться: это очень весело... или, можетъ быть, такая, какая я теперь, я вамъ ужъ больше не нравлюсь?

— Très fraiche, de beaux bras, de bonnes, grasses lèvres, qui promettent — неожиданно повторились въ памяти моей слова сосѣда по партеру и, къ величайшему моему изумленію, эти грубыя донельзя слова не только не возбудили во мнѣ чувства не-

годованія и отвращенія, но убѣдили меня въ томъ, что не будь Лена именно такая, какая она открылась теперь передо мной, и не почувствуй я этого,— правда совершенно безсознательно—съ перваго же мгновенія, при первой встрѣчѣ, когда взглядъ мой на ней случайно остановился, я бы ее и не полюбилъ, и не далъ бы себѣ труда вникнуть въ ея внутреннее существо, и не сталъ бы объяснять ей Леонарда и Вагнера, и не оцѣнилъ бы ея души, а спокойно отвернулся бы и прошелъ мимо. Сознаться въ этомъ, хотя бы и косвенно, я, однако, не захотѣлъ и, притворившись особенно откровеннымъ, на нѣсколько лукавый вопросъ Лены отвѣтилъ, что дѣйствительно предпочелъ бы видѣть ее не въ ложѣ, а въ будничной, домашней обстановкѣ, за чайнымъ столомъ, въ уединенной, уютной ея гостиной.

Лена оказалась искреннѣе меня; по смѣющемуся взгляду, ею на меня кинутому, я увидалъ, что она просто мнѣ не повѣрила и что вопросъ ея былъ вызванъ ничѣмъ инымъ, какъ самымъ обыкновеннымъ, наивнымъ желаніемъ услыхать лишній разъ, всегда радующее молодую женщину, слово признанія ея красоты. Безъ дальнѣйшихъ объясненій мы такъ это оба и поняли, и обоимъ намъ стало весело. О Вагнерѣ и Тангейзерѣ мы не заговаривали: некогда было; да по правдѣ сказать и охоты пускаться въ отвлеченныя разсужденія ни Лена, ни я, очевидно, не испытывали.

— Знаете ли, какой у меня вдругъ явился замыселъ? Поѣхать послѣ театра куда-нибудь ужинать, въ ресторанъ, — обратилась ко мнѣ Лена, ме-

жду тѣмъ какъ французъ, можетъ быть нѣсколько раздосадованный тѣмъ, что мой приходъ прервалъ его tête-à-tête съ Леной, стоялъ у рампы почти спиною къ намъ и въ молчаливомъ раздумьѣ смотрѣлъ въ потолокъ.

— Замыселъ прекрасный, — отозвался я.

— Отецъ, я знаю, будетъ очень радъ, а мужа я уговорю. Вы, вѣдь, тоже поѣдете?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ.

— Только, пожалуйста, не проговоритесь этому господину, — нагибаясь ко мнѣ и указывая глазами на француза, шепнула Лена,—онъ непремѣнно увяжется съ нами и это будетъ очень скучно.

— Вамъ онъ казался симпатичнымъ?

— Вообще — да; но не сегодня. Онъ все умныя вещи говоритъ; а я теперь совсѣмъ не въ такомъ настроеніи, чтобы слушать умныя вещи.

— Вамъ кутить хочется?

— Да, именно...

Въ ложу вошелъ Пахтуровъ.

— Хорошъ господинъ — нечего сказать!—воскликнулъ онъ, увидавъ меня.—Молодая, красивая женщина любезно зоветъ его къ себѣ въ ложу, а онъ отказывается и сидитъ одинъ въ партерѣ.

— Я ужъ за это его разбранила, — вмѣшалась Лена и въ наказаніе завербовала на весь вечеръ.

Она тутъ же заговорила съ отцомъ о своемъ замыслѣ. Старикъ, какъ Лена и предвидѣла, былъ въ восторгѣ, и мы условились, что по окончаніи оперы я буду ждать выхода Броневскихъ и Пахтурова на площадкѣ театральнаго подъѣзда.

XII.

Возникшій по внезапному вдохновенію Лены замыселъ удался вполнѣ: подъ впечатлѣніемъ ли музыки Тангейзера, подъ вліяніемъ ли необыкновеннаго по времени года теплаго, почти лѣтняго парижскаго вечера, или просто случайно, безъ всякой особенной причины, всѣ члены нашего маленькаго кружка, не исключая и графа, были въ духѣ, а тотъ особенный воздухъ, который французы называютъ l'atmosphère capiteuse du boulevard, охватившій насъ по выходѣ изъ театра на улицѣ и въ особенности въ ресторанѣ, гдѣ мы заняли особую комнату, еще болѣе содѣйствовалъ подъему общаго настроенія и оживленности.

Изъ сосѣднихъ комнатъ и коридора доносился къ намъ своеобразный шумъ ресторанной жизни, смѣсь мужскихъ и женскихъ голосовъ, какихъ-то возгласовъ, смѣха, шуршанія шелковыхъ юбокъ, звона посуды и серебра. Сквозь растворяемую повременамъ прислуживавшими гарсонами дверь мелькали веселыя нарядныя фигуры кавалеровъ и дамъ. Чувствовалась не только близость, но сплошное прикосновеніе, какъ бы объятія ночного Парижа, съ его до наглости откровеннымъ и въ то же время почти до художественнаго утонченія доведеннымъ культомъ плоти и ея наслажденій. Почему-то на этотъ разъ это прикосновеніе, эта близость ни Лену, ни меня не отвращали не отталкивали. Лена припомнила даже нашъ первый съ нею разговоръ, и какъ она тогда мнѣ сказала,

что въ Jardin de Paris только старалась убѣдить себя, что ей весело, тогда какъ на самомъ дѣлѣ испытывала непріятное чувство.

— Теперь мы здѣсь почти совершенно въ той же обстановкѣ, какъ и тогда; только не пляшутъ передъ глазами неприличныхъ танцевъ,—замѣтила Лена,—а мнѣ, признаюсь, очень весело; почему это?

— Monsieur Погостовъ n'était pas des nôtres alors—съ шутливо-иронической любезностью объяснилъ графъ.

— Что̀ тутъ разбирать, почему и отчего,—вмѣшался Пахтуровъ, вынимая изо льда стоявшую около него бутылку шампанскаго и принимаясь разливать вино по бокаламъ — просто стихъ такой нашелъ. Весело и слава Богу!

Общій разговоръ скоро принялъ совершенно ресторанный характеръ. Графъ разсказалъ, слышанную имъ въ клубѣ, скандальную романическую исторію, происшедшую надняхъ на морскихъ купаніяхъ въ одной очень аристократической семьѣ и надѣлавшую много шума въ обществѣ, причемъ Пахтуровъ не безъ остроумія замѣтилъ, что у французовъ никогда не разберешь,—гдѣ кончается романъ и гдѣ начинается скандалъ, такъ какъ большею частію ихъ самые трогательные романы приводятъ въ концѣ концовъ къ самымъ грубымъ и гнуснымъ скандаламъ, а скандалы, въ свою очередь, почти всегда имѣютъ подъ собою дѣйствительно романическую подкладку. Замѣчаніе это навело разговоръ на тему сначала о французскихъ женщинахъ, а затѣмъ и о женщинахъ вообще. Пах-

туровъ былъ въ ударѣ и съ очевиднымъ удовольствіемъ давалъ волю своему языку; во все продолженіе ужина онъ говорилъ безъ умолку и когда, наконецъ, подали фрукты и кофе, сталъ развивать цѣлую теорію о томъ, что у каждаго народа женщины имѣютъ свое особое призваніе и назначеніе.

— Англійская, напримѣръ, женщина, — утверждалъ,—онъ лучшій другъ и товарищъ мужчины.

— Въ особенности въ путешествіяхъ,—вставилъ графъ.

— И даже кругосвѣтныхъ, — прибавилъ Пахтуровъ и продолжалъ:—про нѣмецкую женщину говорятъ, что она исключительно хорошая кухарка. Это клевета. Нѣмки готовятъ прескверные обѣды, но за то онѣ прекрасныя жены и еще лучшія матери. Итальянка — только любовница, часто невѣрная; но за то, пока она вѣрна или пока находитъ нужнымъ притворяться вѣрной, никакая другая женщина съ ней не можетъ сравниться въ искусствѣ ласкать, любить и ревновать.

— Вы это по опыту говорите? — подмигнувъ Ленѣ, спросилъ графъ.

— Да,— коротко и серіозно отвѣтилъ Пахтуровъ.

Лена залилась громкимъ, веселымъ смѣхомъ.

— Ну, а француженка, — заключилъ Пахтуровъ свою рѣчь,—эта исключительно создана для того, чтобы быть кокоткой... конечно въ высшемъ смыслѣ, то есть классической, такъ сказать, кокоткой, образцомъ для подражанія всѣмъ другимъ націямъ. Это, я думаю, по собственному опыту можетъ подтвер-

дить и мой beau-fils, —добавилъ старикъ въ явную отместку за предыдущій вопросъ графа.

Во все продолженіе рѣчи Пахтурова Лена не переставала любовно и весело смотрѣть на отца и приговаривала:—Посмотрите на папа—ну развѣ онъ сегодня не прелесть? какъ я люблю его видѣть такимъ!—и когда старикъ, умолкнувъ наконецъ, налилъ себѣ еще стаканъ шампанскаго и принялся за фрукты, она вполголоса мнѣ добавила:—и что особенно мило въ немъ это тò, что по его словамъ, можно подумать, будто онъ только женщинами и занятъ, а на самомъ дѣлѣ, когда попадаетъ въ женское общество, хмурится, скучаетъ и убѣгаетъ при первой возможности.

— Ты тамъ Погостову что-то нехорошее про меня говоришь! — крикнулъ Пахтуровъ дочери черезъ столъ.—Развѣ мои опредѣленія женщинъ не вѣрны? развѣ я не правду говорю? Вы, господинъ всемірный путешественникъ, — обратился онъ ко мнѣ, — скажите: правду я говорю?

— Конечно, правду,—отвѣтилъ я,—но вы забыли сдѣлать еще одно и притомъ самое интересное для насъ опредѣленіе: вы ничего не сказали о русской женщинѣ.

— Русская женщина!—фыркнулъ Пахтуровъ,—развѣ легко сказать, что такое русская женщина!

— Все-таки, папа, ты долженъ намъ это сказать—подзадорила его Лена.

— Изволь, матушка, если непремѣнно такъ хочешь — скажу; только не обижайся, — скажу всю правду. По моему мнѣнію отъ природы русская жен-

щина одарена такъ, какъ не одарена никакая другая женщина въ мірѣ. Она могла бы быть всѣмъ, чѣмъ угодно, въ лучшемъ смыслѣ слова — и другомъ, и женой, и матерью и любовницей и даже... впрочемъ, нѣтъ... кокоткой настоящей она не могла бы быть, это не въ ея натурѣ... но...

Пахтуровъ развелъ руками и замолчалъ.

— Что же: но? спросила Лена,—въ этомъ «но», вѣроятно, обида-то и есть.

— Именно такъ!—подтвердилъ старикъ.—Это «но» заключается въ томъ, что изъ тысячи русскихъ женщинъ девятьсотъ девяносто девять—ни одно, ни другое, ни третье и ни четвертое!

— Какъ же такъ?—удивилась Лена.

— Да вотъ такъ и есть... всѣ онѣ какія-то сѣрыя...

Лена бросила на меня быстрый взглядъ и, улыбнувшись, опять стала слушать отца.

— Всѣ онѣ какія-то невыдержанныя, непослѣдовательныя, будто чѣмъ-то напуганныя и Богъ ихъ знаетъ, почему? Загляни къ нимъ глубже въ душу — у многихъ отыщутся неоцѣненныя сокровища ума и чувства; но въ жизни этого ничего не видно, наружу ничего не выходитъ, и проводятъ русскія женщины весь свой вѣкъ мямлями, ни намъ, мужчинамъ, на радость, ни себѣ въ удовольствіе.

— Папа!—воскликнула Лена,—да вѣдь это ужасно, что̀ вы говорите о русскихъ женщинахъ! Мужъ! Степанъ Михайловичъ!—неужели и вы согласны съ папа? Что же вы молчите?... заступитесь.

Оказалось, однако, что ни графъ, ни я не были расположены переходить отъ легкой болтовни къ серьезному спору; съ комически-торжественнымъ оттѣнкомъ, отчеканивая каждое слово, графъ отвѣтилъ, что несогласіе его съ мнѣніемъ Пахтурова и предпочтеніе русской женщины всѣмъ другимъ онъ доказалъ не словами, а самымъ дѣломъ, избравъ себѣ графиню въ подруги жизни.

— Очень мило сказано, — отозвалась Лена, — но не убѣдительно; это не возраженіе на то, что сказалъ отецъ. За вами очередь, — обратилась она ко мнѣ.

— Глубоко сожалѣю, — сказалъ я, подражая тону графа, — что не могу выставить такого же нагляднаго доказательства; смѣю только заявить, что вполнѣ понимаю графа и отъ всей души ему сочувствую.

— Браво! — воскликнулъ графъ и ударилъ въ ладоши.

— И стало быть, если бы я не была замужемъ — вы на мнѣ женились бы? — насмѣшливо прищуривъ глаза, спросила Лена.

— Но вѣдь вы за меня бы не пошли! — отвѣтилъ я.

— А знаешь ли? вѣдь онъ правъ, — совершенно спокойно обратилась Лена къ мужу, — я никогда за Степана Михайловича не пошла бы замужъ, еслибъ даже была свободна.

— Не знаю, насколько пріятно слышать m-r Погостову это откровенное признаніе, но во всякомъ случаѣ для меня оно очень лестно, — заявилъ графъ.

— Еще бы! — отозвался и Пахтуровъ, — развѣ можно брать себѣ въ мужья такого бродягу, какъ нашъ почтенный другъ! Черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы, а то и раньше, онъ убѣжалъ бы изъ дома и поминай, какъ звали!

Пахтуровъ дружески ударилъ меня по плечу, прибавивъ почему-то по-французски:

— Ce n'est pas le type d'un mari.

— Mais celui d'un amant, peut-être, — произнесъ графъ, улыбнулся и умолкъ.

— Всѣ мы, кажется, выпили слишкомъ много вина и договорились до какихъ-то глупостей. Не пора ли домой?—прервала Лена нашу, дѣйствительно нѣсколько сбившуюся съ толку, болтовню.

Графъ посмотрѣлъ на часы.

— Скоро два; дѣйствительно, пора домой, — объявилъ онъ и, за исключеніемъ Лены, мы всѣ встали изъ-за стола.

— Вы поѣзжайте домой на лошадяхъ, — сказалъ Пахтуровъ, — а мнѣ послѣ ужина передъ тѣмъ, чтобы лечь въ постель, надо пройтись пѣшкомъ; а то долго не засну.

— Позвольте вамъ предложить мѣсто въ нашемъ экипажѣ, — любезно обратился ко мнѣ графъ. — Мы васъ довеземъ до вашей гостиницы, вѣдь это намъ почти по дорогѣ.

Пахтуровъ подошелъ къ дочери.

— Ну спасибо, дочка, за отлично проведенный вечеръ; вѣдь это была твоя мысль. Поужинали отлично и, кажется, никому не было скучно.

И, охвативъ голову дочери руками, онъ звонко расцѣловалъ ее на обѣ щеки.

— Вы, господа, спрашиваете у меня, что такое русская женщина? — обратился онъ къ графу и ко мнѣ, не выпуская голову Лены изъ рукъ, — вотъ и смотрите: вотъ она настоящая русская женщина, и не изъ числа девятисотъ девяносто девяти, а та одна изъ тысячи, которая составляетъ исключеніе.

— Папа, вы продолжаете говорить глупости, — стараясь высвободить голову изъ рукъ отца, сквозь смѣхъ проговорила Лена. — Идите лучше домой спать...

Старикъ еще разъ поцѣловалъ Лену и, кивнувъ намъ головой на ходу, торопливо вышелъ изъ комнаты.

— Твой отецъ непремѣнно теперь пойдетъ и заплатитъ одинъ за весь ужинъ, я знаю его манеру, — забезпокоился графъ.

— Оставь его, если ему это доставляетъ удовольствіе, — сказала Лена.

— Нѣтъ, я этого терпѣть не могу! — возразилъ графъ. — Да и m-r Погостову это едва ли было бы пріятно. Пойдемте, — обратился онъ ко мнѣ, — расплатимся и потомъ вернемся сюда за Hélène

— Какъ? я должна остаться здѣсь одна, въ этой комнатѣ? Да ни за что на свѣтѣ! — горячо воспротивилась, вдругъ, Лена, — неужели вы не можете свести ваши счеты потомъ?

— Конечно, конечно, — поспѣшилъ согласиться графъ и побѣжалъ за Пахтуровымъ.

Мы остались съ графиней вдвоемъ.

Притворивъ дверь за графомъ, я вернулся на свое прежнее мѣсто и сѣлъ около Лены. На столѣ стояли недопитые нами бокалы вина.

— Я рада, что слышала наконецъ Тангейзера,— вдругъ, совершенно измѣнившимся, простымъ своимъ домашнимъ голосомъ сказала Лена, — онъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе, но я еще не могу рѣшить, — очень ли это хорошо, или очень дурно? Вы опредѣлили вѣрно: это какая-то темная ночь.

Я промолчалъ.

— Впрочемъ, — заговорила опять Лена, и я тотчасъ же уловилъ внутреннюю послѣдовательность ея мыслей, — мнѣ теперь уже немного времени остается пробыть въ Парижѣ. Вернусь домой, заживу прежней тихой, нормальной жизнью... вы пріѣдете къ намъ въ Варшаву?

— Если позволите — пріѣду.

Лена задумалась; потомъ коснулась рукою ножки стоявшаго передъ нею бокала и пододвинула его ближе ко мнѣ.

— Надо допить это вино. Пожелайте мнѣ чего-нибудь очень хорошаго. Чего бы вы мнѣ пожелали?

— Ничего другого, кромѣ того, что вы сами себѣ желаете, — отвѣтилъ я, слегка касаясь бокала Лены краемъ моего бокала.

— А если я желаю невозможнаго?

Въ комнатѣ опять пролетѣлъ тихій ангелъ. Лена пристально и вопросительно посмотрѣла мнѣ въ глаза; губы ея шевельнулись, какъ будто она

хотѣла еще что-то спросить, или сказать, но раздумала,—и мы допили наше вино молча, не высказавъ другъ другу и только почувствовавъ каждый про себя свое завѣтное желаніе.

XI.

Дни протекали за днями, съ тревожною для меня быстротой приближая время отъѣзда Лены изъ Парижа. Все чаще въ разговорахъ упоминалось объ этомъ отъѣздѣ и, между прочимъ, было рѣшено, что, передъ возвращеніемъ домой, графиня завернетъ погостить къ престарѣлой и очень знатной родственницѣ графа, жившей безвыѣздно въ продолженіе многихъ лѣтъ въ собственной виллѣ, въ Баденъ-Баденѣ, и потребовавшей, по случаю заграничнаго путешествія Броневскихъ, чтобы графъ представилъ ей жену и дѣтей, съ которыми она не была еще знакома. Ленѣ заѣздъ этотъ казался скучнымъ и ненужнымъ; но графъ, воззрившись, по выраженію Пахтурова, на наслѣдство богатой старухи, настоялъ на необходимости оказать ей эту любезность.

— Жену заставляетъ исполнять капризы какой-то выжившей изъ ума тетки, — сердито говорилъ Пахтуровъ, разсказывая мнѣ объ этихъ предположеніяхъ, — а самъ, небось, и не подумаетъ остаться въ Баденѣ; только привезетъ туда Лену, посадитъ ее съ дѣтьми на цѣлую недѣлю, какъ въ клѣтку, и въ тотъ же день укатитъ дальше. Неотложныя,

видите ли, дѣла вызываютъ его въ Варшаву. Воображаю, какія дѣла!

Старикъ, въ предвидѣніи близкаго возвращенія на службу въ Петербургъ и предстоящей разлуки съ дочерью, находился въ раздраженномъ состояніи, да и сама Лена въ послѣднее время была большею частью не въ духѣ. Она какъ-то вся затуманилась; обычная ея веселость исчезла и—что̀ особенно было тяжело для меня — въ обращеніи ея со мной стала чувствоваться какая-то натянутость, возраставшая по мѣрѣ приближенія дня, когда намъ всѣмъ предстояло покинуть Парижъ и разъѣхаться въ разныя стороны. Тангейзеровскій вечеръ, какъ назвала его въ разговорѣ со мной Лена, не только не содѣйствовалъ моему съ ней дальнѣйшему сближенію, но почему-то отчудилъ насъ другъ отъ друга. Я даже не удержался однажды и прямо спросилъ Лену: что съ ней?

— Не весело живется, — отвѣчала она со сдержаннымъ вздохомъ, и въ ея голосѣ я уловилъ знакомый отзвукъ той, установившейся ранѣе между нами, откровенной душевной близости, которой почему-то теперь уже не было и по которой я тосковалъ. Заслышавъ этотъ отзвукъ, я было ожилъ, обрадовался, хотѣлъ заговорить; но Лена мгновенно опять захолодѣла, отшатнулась отъ меня; я тоже поспѣшилъ уйти въ себя, умолкъ,— и мы разстались, обмѣнявшись холоднымъ рукопожатіемъ и принужденной улыбкой. — Что съ нею? за что она меня отталкиваетъ? — мысленно допытывался я.— Можетъ быть она негодуетъ на меня за то, что я

молчу? — Но почему-то эту догадку я отвергнулъ тотчасъ же, какъ совершенно неподходящую, — и другая, никогда до того времени не приходившая мнѣ въ голову мысль, дала, какъ мнѣ показалось, объясненіе томившаго меня недоумѣнія.

Не могла такая чуткая женщина, какъ Лена, не замѣтить, какое впечатлѣніе она на меня произвела, какое чувство во мнѣ возбудила; не могла она проглядѣть всю внутреннюю драму, которая, завязавшись при встрѣчѣ моей съ нею, разыгрывалась во мнѣ съ тѣхъ поръ и должна же была когда-нибудь подойти къ неизбѣжной развязкѣ. О моемъ чувствѣ я, правда, не обмолвился Ленѣ ни однимъ словомъ, ни однимъ намекомъ; но не боится ли она, что передъ надвигающейся разлукой, передъ прощаньемъ, я, вдругъ, прерву молчаніе, сдѣлаю классическое признаніе въ любви, потребую отъ нея рѣшенія моей участи и не отъ одной ли мысли о возможности подобнаго объясненія Лена теперь меня чуждается, волнуется и робѣетъ?

Объясненіе... Признаніе! — Да я самъ страшился ихъ въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ могла бы ихъ страшиться Лена, если бы догадка моя была вѣрна! Раскрыть душу, высказаться... и что же потомъ? потерять, быть можетъ, въ одно мгновеніе все, что придало, наконецъ, смыслъ моему пустому, праздному существованію, чѣмъ красна стала моя жизнь! Нѣтъ, ужъ лучше разстаться съ Леною безъ всякихъ объясненій; лучше смолчать и такимъ образомъ сохранить по крайней мѣрѣ обманъ лучезарнаго воспоминанія въ прошедшемъ и призракъ

надежды въ будущемъ. Я такъ и порѣшилъ сдѣлать. Прошло еще нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ мы съ Леной почти не видались; но за два дня до отъѣзда Броневскихъ и Пахтурова изъ Парижа произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное, измѣнившее всѣ мои предположенія...

XII.

— Надумали вы, наконецъ, куда отсюда поѣдете? — спросилъ меня Пахтуровъ, протягивая руку, но не отрываясь отъ чтенія повидимому очень заинтересовавшей его статьи въ русской газетѣ, когда въ ранній утренній часъ я зашелъ къ нему въ надеждѣ встрѣтить Лену, всегда начинавшую свой парижскій день посѣщеніемъ отца. Графиня стояла посреди комнаты, въ шляпкѣ и одѣтая для прогулки. Поздоровавшись со мной, она направилась уже къ выходной двери, но, услыхавъ обращенный ко мнѣ Пахтуровымъ вопросъ, остановилась и стала медленно застегивать пуговицы длинной перчатки, туго охватывавшей ея приподнятую въ воздухъ, красивую руку.

Вопросъ Пахтурова, съ нѣкоторыхъ поръ упрямо повторяемый имъ при каждой встрѣчѣ со мной, былъ все еще мною не рѣшенъ. Дальнѣйшее пребываніе въ опустѣломъ, послѣ отъѣзда Лены, Парижѣ было бы для меня невыносимо. Италія, какъ, впрочемъ, и всякое другое мѣсто, гдѣ я не чувствовалъ бы присутствія Лены или, по крайней мѣрѣ,

ея близости, тоже меня не манила. Оставалось одно: ѣхать въ Баденъ, чтобы во время пребыванія тамъ Лены, хоть изрѣдка и случайно, встрѣчаться съ нею на прогулкахъ. Такъ, конечно, поступилъ бы каждый на моемъ мѣстѣ, но именно потому мнѣ этого не хотѣлось; по проторенным толпою дорогамъ ходить не въ моей природѣ. Преслѣдованіе Лены по пятамъ, назойливое выказываніе моей къ ней привязанности, какъ и всѣ вообще освященные обычаями пріемы такъ называемаго ухаживанія за женщиною, казались мнѣ недостойными ни Лены, ни меня. «Пусть»,—думалось мнѣ,— судьба сама распорядится нами по своему усмотрѣнію». Она почти противъ моей воли заставила меня сблизиться съ Леной, она же навѣрное и укажетъ, какъ теперь быть и что̀ дѣлать.

А между тѣмъ въ ожиданіи моего отвѣта Лена продолжала стоять около двери, перекидывая оставшуюся еще не надѣтою правую перчатку съ руки на руку. Мое молчаніе ей видимо досаждало.

— Вы, кажется, собирались въ Италію?—выговорила она наконецъ.

— Собирался, графиня, а теперь что̀-то ужъ и не хочется...

— Увлеклись Парижемъ? не можете съ нимъ разстаться?

Я удивленно посмотрѣлъ на Лену, не узнавъ въ послѣднихъ словахъ ни ее самоё, ни ея голоса.

— Въ Парижѣ я не останусь,—отвѣтилъ я,— здѣсь мнѣ дѣлать нечего.

— Да, я и забыла, что вы не любите Парижъ и жили здѣсь такъ долго, вѣроятно, только потому, что удерживалъ васъ папа...

Обидно мнѣ стало отъ этихъ недобрыхъ, небрежно брошенныхъ мнѣ Леною словъ, съ очевиднымъ, однако, намѣреніемъ причинить мнѣ душевную боль. «За что?» — подумалъ я и мнѣ захотѣлось отвѣтить такъ, чтобы Лену задѣть за живое.

— Не отецъ вашъ меня удерживалъ, — возразилъ я: — а просто мнѣ здѣсь пріятно и весело пожилось: посѣтилъ Лувръ, полюбовался на Джоконду, послушалъ Тангейзера — чего же мнѣ больше? Теперь, по всей вѣроятности, проѣду въ Вѣну; тамъ осенью обыкновенно даютъ Тристана — послушаю его.

Слова мои произвели на Лену именно то впечатлѣніе, котораго я отъ нихъ ожидалъ.

Она вспыхнула и вскинула на меня совсѣмъ уже раздраженный взглядъ.

— А если бы я васъ попросила этого не дѣлать? — сказала она.

Я хотѣлъ спросить: почему? — но Лена уже спохватилась и, принужденно разсмѣявшись, добавила:

— Я глупости говорю. Поѣзжайте въ Вѣну, наслаждайтесь вашимъ Тристаномъ.

— Почему же—моимъ? онъ настолько же мой, сколько и вашъ, сколько и всякаго, въ комъ есть живая душа.

По внезапно застывшему выраженію лица Лены, я понялъ, что мыслями она вдругъ ушла куда-то

далеко, и съ напряженнымъ волненіемъ ждалъ, чѣмъ разрѣшиться это раздумье?

— Если въ Вѣнѣ пойдетъ Тристанъ, я туда пріѣду, — медленно и твердо, не обращаясь ко мнѣ, а какъ бы про себя, сказала она — и опять на меня взглянула, но уже совершенно измѣнившимся, какимъ-то изнутри свѣтящимся взглядомъ, поразительно напомнившимъ мнѣ другой, когда-то любимый и милый мнѣ взглядъ... Да это глаза Матреши! — чуть не вскрикнулъ я — а глаза эти, все еще устремленные на меня, безсознательно мнѣ говорили: «ты и не зналъ, ты и не догадывался, что я такая же, какъ и та — твоя первая любовь, твоя бродяжка? что и у меня есть крылья: возьму, взмахну ими, полечу — и никто не властенъ мнѣ запретить, и ничто меня не удержитъ!»

Не ручаюсь, не нарушилъ ли бы я въ этотъ мигъ, такъ еще недавно наложенный мною на себя, зарокъ молчанія, зарокъ сохраненія тайны моей любви, если бы не раздался около насъ голосъ Пахтурова, во все время предыдущаго разговора углубленнаго въ чтеніе и только случайно услыхавшаго послѣднія слова графини.

— Чтобы слышать Тристана, совсѣмъ не нужно ѣхать черезъ всю Европу въ Вѣну, — обратился онъ къ своей дочери. — Не дальше, какъ сегодня поутру, я прочиталъ къ Figaro объявленіе, что этого самаго Тристана даютъ черезъ нѣсколько дней въ Карлсруэ, въ двухъ шагахъ отъ Бадена, куда ты теперь ѣдешь. Изъ Бадена въ Карлсруэ часъ ѣзды, и ты могла бы съѣздить на представленіе и вернуться въ тотъ же день домой.

— Вы не шутите, папа? — дрогнувшимъ отъ волненія голосомъ произнесла Лена.

— Figaro лежитъ на окнѣ, — равнодушно отозвался старикъ, — если мнѣ не вѣришь, возьми, прочти сама.

И Лена, и я одновременно бросились къ окну и взялись за газету.

— Не подеритесь! — крикнулъ Пахтуровъ, — и это обращенное къ намъ обоимъ вмѣстѣ восклицаніе старика мгновенно разбило ту невидимую преграду, которая въ послѣднее время, Богъ вѣсть почему, выросла между Леною и мной. Мы снова ощутили прежнюю, и даже бо̀льшую, чѣмъ прежде, близость; мы стояли рядомъ, наклонивъ головы другъ къ другу и стараясь разглядѣть и прочитать дрожавшія и туманившіяся въ глазахъ печатныя строки. Я чувствовалъ на своемъ лицѣ теплоту лица Лены; рука ея, державшая край газетнаго листа, прикосновеніемъ своимъ обжигала мнѣ руку.

— Не нахожу... гдѣ же это? — шептала мнѣ Лена, не отодвигая руки и не выпуская изъ нея газету, которую я тоже притягивалъ къ себѣ — и какая-то невидимая, но внятно ощутимая струя общаго волненія, общей радости, пробѣгала между нами въ этой борьбѣ за клочокъ листка, заключавшаго въ себѣ счастливую для насъ вѣсть.

Видя, что изъ нашихъ поисковъ ничего не выходитъ, Пахтуровъ вышелъ, наконецъ, изъ терпѣнія, подошелъ къ намъ и, отобравъ Figaro, самъ отыскалъ и прочелъ объявленіе. Оно гласило, что черезъ пять дней дано будетъ въ театрѣ Карлсруэ

представленье «Тристана и Изольды» съ распредѣленіемъ главныхъ ролей между поименованными въ объявленіи артистами. Но мы уже не интересовались этими подробностями. Въ вихрѣ закружившихся въ головѣ новыхъ мыслей мы, не отходя отъ окна, стояли молча, взволнованно, какъ ускользнувшіе невзначай отъ чьего-то враждебнаго преслѣдованія бѣглецы на палубѣ отчаливающаго отъ пристани корабля, позабывъ о покидаемомъ берегѣ, созерцая лишь просторъ раскинувшагося передъ глазами моря. И когда старикъ, кончивъ чтеніе и побѣдоносно взглянувъ на Лену, отбросилъ въ сторону газету и направился обратно къ своему креслу, я вдругъ почувствовалъ, что Лена рукою снова коснулась моей руки и мягкимъ, чуть слышнымъ пожатіемъ словно шепнула мнѣ «да» на всѣ вопросы и сомнѣнія, истомившіе мнѣ душу, словно позвала меня за собой, въ свою жизнь, въ свою даль, въ свое тутъ же сейчасъ рѣшенное куда-то бѣгство. Все это произошло такъ быстро и неожиданно, что, воспоминая потомъ, я даже не однажды спрашивалъ себя: да полно, такъ ли это въ дѣйствительности было? не обманулся ли я? не померещилось ли мнѣ? Но въ такомъ случаѣ, что же другое могло повѣять на меня такимъ свѣтлымъ утромъ, такою весной? Какъ объяснить, что это мгновеніе вспоминается мнѣ до сихъ поръ, какъ самое солнечное мгновеніе въ моей жизни и почему, когда Пахтуровъ, прервавъ такъ много говорившее намъ наше молчаніе, спросилъ Лену: «да увѣрена ли она, что для исполненія ея прихоти,

я соглашусь пріѣхать въ Карлсруэ, безъ чего ей одной ѣхать туда нельзя, такъ какъ мужъ сопутствовать ей не можетъ?» — почему, говорю я, мы оба ему въ отвѣтъ разсмѣялись такъ громко и весело, что старикъ даже обидѣлся и сердито прикрикнулъ: «Чему смѣетесь? Кто же васъ зналъ, что между вами заранѣе все сговорено!»

Но мы съ Леной вѣдь ни о чемъ впередъ не сговаривались или, вѣрнѣе сказать, все сговариваніе наше и ограничилось именно этимъ мгновеннымъ прикосновеніемъ руки Лены къ моей рукѣ, на которое я только успѣлъ отвѣтить безмолвно-благодарнымъ взглядомъ.

Времени, однако, терять было некогда; я рѣшилъ, чтобъ запастись билетами въ театрѣ, ѣхать въ Карлсруэ на слѣдующій же день, а пока мы принялись обсуждать подробности осуществленія нашего предпріятія. Отыскавъ въ желѣзно-дорожномъ указателѣ росписаніе германскихъ поѣздовъ, мы удостовѣрились, что Пахтуровъ былъ правъ и что Лена дѣйствительно можетъ, выѣхавъ изъ Бадена въ пять часовъ дня, попасть въ Карлсруэ какъ разъ къ началу представленія и потомъ, по его окончаніи, къ ночи вернуться домой. Я предложилъ пріѣхать въ Баденъ, чтобы сопровождать графиню въ ея поѣздкахъ туда и обратно, но она предпочла пока не рѣшать этого вопроса и обѣщала, въ случаѣ надобности, мнѣ телеграфировать.

— Скажите только, въ какой гостиницѣ вы остановитесь; чтобы не забыть, я запишу ея названіе,— сказала Лена, садясь къ столу и вынимая изъ руч-

ного мѣшечка записную книжку, — ту самую, которую я уже видѣлъ въ ея рукахъ, когда мы бродили съ ней по заламъ Лувра.

— Знакомая книжка, — замѣтилъ я, подходя къ Ленѣ и становясь за ея плечомъ.

Лена молча ожидала, чтобы я назвалъ гостиницу.

— Hôtel Тангейзеръ,—продиктовалъ я.

— Тангейзеръ?—переспросила Лена,—въ Карлсруэ есть гостиница съ такимъ хорошимъ названіемъ.

Записавъ его, Лена, однако, не закрыла книжку; она стала ее перелистывать, остановилась на одной изъ предыдущихъ страницъ и, не повертывая ко мнѣ головы, только приподнявъ книжку со стола, указала мнѣ черезъ плечо на два слова, написанныя на верху страницы мелкимъ, дѣтски-нетвердымъ почеркомъ. Джоконда Леонарда,—прочиталъ я, и живо припомнилось мнѣ со всѣми подробностями и разговорами мое съ Леной посѣщеніе Лувра. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе трехъ недѣль, въ продолженіе которыхъ я пережилъ много тревожныхъ, даже мучительныхъ часовъ и дней, тщетно стараясь разгадать тайну внутренняго настроенія Лены.

— Отчего вы раньше мнѣ не показали?—упрекнулъ я ее.

— Я вписала только сегодня по утру,—оправдалась она.

— А Мадонну Чемабуэ вычеркнули? — полюбопытствовалъ я.

Лена медленно повернула еще листокъ и я увидалъ, что Мадонна не была вычеркнута.

— Рука не поднялась,—откровенно призналась Лена, и въ нерѣшительности стала стучать карандашомъ по столу.

— Я не настаиваю,—поспѣшилъ я заявить,— вѣдь, помните, не я, а вы сами, графиня, тогда сказали, что Мадоннѣ и Джокондѣ вмѣстѣ быть нельзя.

Лена уперла кончикъ карандаша въ первую букву записи и еще на мгновеніе задумалась.

— Конечно, нельзя! — подтвердила она и, рѣшительнымъ движеніемъ зачеркнувъ строку, сложила книжку и, бросивъ ее въ мѣшокъ, встала.

— Ну, кажется, мы теперь обо всемъ съ вами переговорили. Мнѣ пора уходить.

На лицѣ Лены играла улыбка, въ которой кромѣ веселости свѣтилась еще какая-то тишина, какое-то успокоеніе послѣ только-что пережитой внутренней борьбы и тревоги—успокоеніе, передавшееся тотчасъ же и мнѣ. Въ эту минуту дѣйствительно говорить было больше не о чемъ. Намъ предстояла другая встрѣча, уже не въ толчеѣ парижской жизни, а на просторѣ, въ свободномъ уединеніи, въ отдаленіи отъ всего того будничнаго, тусклаго, узаконеннаго, что служило неизбѣжной обстановкой семейной жизни Лены. Мы теперь находились въ радостномъ настроеніи, подъ свѣтлымъ впечатлѣніемъ установившагося между нами внутренняго согласія и унесли бы съ собой это впечатлѣніе, и прожили бы имъ до новой встрѣчи, еслибъ судьба на ка-

ждомъ шагу не издѣвалась надъ жизнію и не заставляла ее постоянно лгать и противорѣчить самой себѣ. Недаромъ и Лермонтовъ, и Вагнеръ не вѣрили веселью,—первый, становясь, при видѣ его, грустнымъ и предрекая «за каждый свѣтлый часъ, за каждое мгновеніе» суровую расплату судьбѣ «слезами и тоской», а второй—вплетая въ праздничные гимны торжествующаго, повидимому, счастья отклики чего-то мрачнаго и злого, противуположнаго счастью, чуждаго ему и враждебно подстерегающаго своихъ довѣрчивыхъ жертвъ, чтобы нанести имъ предательскій ударъ и отомстить.

Въ данномъ случаѣ, неожиданнымъ и, конечно, уже совершенно безсознательнымъ глашатаемъ этой темной, роковой силы, явился добродушный мой пріятель Пахтуровъ. Почему именно это такъ случилось, стало для меня ясно только потомъ изъ разговора, о которомъ я упомяну дальше, а пока Лена, какъ я уже сказалъ, собралась уходить.

— Завтра,—шутливо обратилась она ко мнѣ,—цѣлый день я буду занята очень серьезнымъ дѣломъ—наблюденіемъ за укладкою мужниныхъ, дѣтскихъ и своихъ вещей; вы видѣли, сколько сундуковъ стоитъ въ коридорѣ. Пожалуйста, не приходите мнѣ мѣшать. До свиданья... въ Карлсруэ...

Она пожала мнѣ руку и кивнула головой отцу. Нужно признаться, что на радостяхъ мы съ Леной совершенно позабыли о его присутствіи и только въ эту минуту замѣтили, что старикъ особенно неподвижно сидитъ въ своемъ креслѣ и мрачно смотритъ на насъ обоихъ черезъ очки.

— Карлсруэ, Карлсруэ!—вдругъ проворчалъ онъ, бросая въ пепельницу недокуренную сигару,—все это глупости; не поѣдете вы въ Карлсруэ.

На лицо Лены набѣжала тѣнь. Она перестала улыбаться, подошла къ отцу, заглянула ему въ глаза и, положивъ руку на его плечо, спросила:

— Отчего, папа?

Ласка Лены не смягчила Пахтурова и не заставила его подобрѣть и развеселиться, какъ это обыкновенно случалось, когда онъ находился въ дурномъ расположеніи духа. Напротивъ, почему-то онъ еще болѣе раздражился и горячо сталъ высказывать цѣлый рядъ, впрочемъ, довольно слабыхъ соображеній, на основаніи которыхъ, по его мнѣнію, Лена должна была бросить свою затѣю: и неловко-то, пріѣхавъ къ теткѣ, тотчасъ же покидать ее на цѣлый день, ради какого-то театральнаго представленія, и дѣтей оставлять съ бонной въ чужомъ мѣстѣ было неосторожно, и ѣздить въ вагонахъ одной или съ постороннимъ господиномъ, какъ неблагосклонно Пахтуровъ выразился обо мнѣ, также было бы странно и даже неприлично. Лена долго, безъ всякой досады терпѣливо слушала доводы отца, возражая и стараясь доказать ихъ несостоятельность; но когда, въ видѣ послѣдняго и самаго сильнаго въ глазахъ его аргумента, онъ упомянулъ о мужѣ и сказалъ, что графъ навѣрное не позволитъ, чтобы она сдѣлала такую глупость, Лена вдругъ встала и, рѣзкимъ движеніемъ обдернувъ надѣтую поверхъ блузки гуляльную кофточку, вся какъ-то выпрямилась, какъ будто разомъ выросла и въ глазахъ ея сверкнулъ

гордый, гнѣвный огонекъ, котораго я въ нихъ никогда еще не замѣчалъ.

— Это уже не ваше дѣло, папа, а мое,—голосомъ до странности спокойнымъ произнесла она; затѣмъ, обратясь ко мнѣ, тѣмъ же голосомъ повторила:—до свиданья, въ Карлсруэ, — и вышла изъ комнаты.

— Какова! извольте полюбоваться!—воскликнулъ Пахтуровъ, когда дверь за Леною затворилась и звукъ быстро удалявшихся ея шаговъ замеръ въ коридорѣ.

Старикъ тоже всталъ и зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ; онъ, видимо, былъ озадаченъ тѣмъ, какъ Лена приняла его слова.

— Дернула же меня нелегкая показать ей это проклятое объявленіе въ Figaro,—сталъ онъ громко разсуждая самъ съ собою, — очень было нужно. Меня не спрашивала... даже вниманія никакого не обращала; ну и сидѣлъ бы... и молчалъ...

Я, наконецъ, прервалъ рядъ восклицаній, которыя грозили умножиться до безконечности.

— Василій Степановичъ, что̀ съ вами? что̀ случилось? я васъ не узнаю...

Пахтуровъ остановился передо мной.

— Что вы меня не узнаете—не велика бѣда,—сказалъ онъ,—а что я съ нѣкоторыхъ поръ, въ особенности съ сегодняшняго утра, пересталъ узнавать мою Лену, это уже совсѣмъ не ладно, этого, извините меня, допустить нельзя!..

Я пожалъ плечами.

— Вотъ вы плечами пожимаете, вамъ все равно,— возобновляя свою ходьбу по комнатѣ и избѣгая почему-то моего взгляда, продолжалъ Пахтуровъ,— а виноваты-то во всемъ вы, т. е. можетъ быть и не вы сами, а ваши Джоконды, Тангейзеры, Тристаны и какъ еще тамъ ихъ всѣхъ зовутъ. Не доведутъ они до добра.

«Ну, начинается, — скучливо подумалъ я, догадываясь отчасти въ чемъ дѣло,—вотъ она жизнь!— стоитъ только, чтобы въ человѣческой душѣ сверкнулъ хоть робкій, хоть слабый и мгновенный лучъ независимой воли, молодого чувства увлеченія кѣмъ-нибудь, или даже чѣмъ-нибудь—немедленно всѣ кругомъ насторожатся, насупятъ брови и въ концѣ концовъ закричатъ: караулъ! неприлично, неладно, нельзя!..»

Я съ горечью посмотрѣлъ на старика; отъ него менѣе всего могъ я ожидать такой выходки. Кажется, онъ понялъ мой молчаливый упрекъ и затихъ.

— Степанъ Михайловичъ,—послѣ довольно продолжительнаго молчанія обратился онъ ко мнѣ,— пойдемте-ка съ вами позавтракать къ Пальяру; тамъ поговоримъ. .

Не желая, чтобы Пахтуровъ могъ подумать, будто я уклоняюсь отъ разговора съ нимъ по поводу отношеній моихъ къ Ленѣ, я тотчасъ же согласился и только предупредилъ, что до завтрака зайду въ агентство спальныхъ вагоновъ обезпечить себѣ отдѣленіе въ поѣздѣ, который долженъ былъ доставить меня въ Карлсруэ.

На этомъ мы довольно холодно разстались.

X.

Полчаса спустя я засталъ Пахтурова уже сидящимъ за излюбленнымъ имъ столикомъ въ дальнемъ углу ресторана. Встрѣтилъ онъ меня безъ обычныхъ радостныхъ восклицаній и позавтракали мы почти молча, изрѣдка перекидываясь незначительными фразами. Только, когда былъ поданъ сыръ, а, стоявшая передъ Васильемъ Семеновичемъ, бутылка бордо стала подходить къ концу, онъ постепенно началъ оживляться и, закуривъ сигару, пришелъ, наконецъ, въ то состояніе возбужденной словоохотливости, когда при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, становился умнымъ, бойкимъ и веселымъ собесѣдникомъ. На этотъ разъ Пахтуровъ, однако, не далъ воли своей склонности вспоминать доброе старое время, и подъ вліяніемъ одолѣвавшей его заботы прямо приступилъ къ продолженію прерваннаго въ гостиницѣ разговора.

— Вы думаете — Лена навѣрное поѣдетъ въ Карлсруэ?—спросилъ онъ.

— Относительно графини ничего думать не имѣю права,—коротко отвѣтилъ я, заранѣе вооружившись терпѣніемъ передъ неизбѣжнымъ, довольно-таки скучнымъ для меня допросомъ.

— А сами поѣдете?

— Поѣду.

— Даже, если Лены тамъ не будетъ?

Мысль, что графиня можетъ не пріѣхать на условленное свиданіе не приходила мнѣ до той поры въ голову,

— Вѣроятно... можетъ быть... нѣсколько растерявшись отъ неожиданнаго вопроса, произнесъ я.

— Вотъ то̀-то и есть... можетъ быть!—подхватилъ Пахтуровъ,—а я вамъ говорю: не можетъ быть, и если Лена не поѣдетъ, не поѣдете и вы.

Я промолчалъ.

Старикъ быстро придвинулъ ко мнѣ свой стулъ и взялъ меня за руку.

— Перестанемте, дорогой Степанъ Михайловичъ, въ прятки съ вами играть,—заговорилъ онъ дружественнымъ голосомъ, пристально глядя мнѣ къ глаза.—Я старикъ, да и вы, слава Богу, не юноша; стало быть, морочить намъ другъ друга не подобаетъ,—цѣли нѣтъ. Будемте говорить прямо, безъ обиняковъ... согласны, что ли?

— Согласенъ.

— Ну, вотъ и прекрасно.

Василій Семеновичъ выпустилъ мою руку изъ своей руки и откинулся къ спинкѣ стула.

— Вы любите Лену, — произнесъ онъ не то въ видѣ утвержденія, не то въ видѣ вопроса.

«Боже мой, — подумалъ я, — какъ все это торжественно и даже трогательно и какъ въ то же время несносно и ненужно! Ну, на что ему понадобилось знать: люблю я Лену, или не люблю? Конечно, я не солгу, но... зачѣмъ это все, зачѣмъ?»

— Можете, впрочемъ, не отвѣчать,—продолжалъ Пахтуровъ, не дождавшись моего отвѣта, — словъ мнѣ вашихъ совсѣмъ не нужно; я и безъ нихъ теперь все понимаю. Вы полюбили Лену —да иначе не могло и случиться. Только такой старый ду-

ракъ, какъ я, могъ этого не предвидѣть. Ужъ если мой beau - fils, о которомъ, какъ вы знаете, я не сообенно высокаго мнѣнія, — ужъ если онъ, встрѣтясь съ Леной на двухъ балахъ, послѣ нѣсколькихъ туровъ вальса и мазурокъ, сдѣлалъ ей предложеніе, то, — спрашиваю васъ, — какой же порядочный человѣкъ, съ сердцемъ и глазами, да притомъ узнавъ мою дочь такъ, какъ вы ее теперь узнали, могъ бы остаться къ ней равнодушнымъ? Это было бы совершенно неестественно, неправдоподобно. Вѣдь такой второй женщины, какъ Лена, на всемъ свѣтѣ нѣтъ! вѣдь это такое необыкновенное созданіе, такое совершенство, такое золото...

Старикъ хотѣлъ прибрать еще какое-нибудь опредѣленіе, чтобы полнѣе выразить свое восхищеніе дочерью, но, не находя его, только махнулъ рукой и залпомъ выпилъ изъ стоявшаго передъ нимъ стакана остатокъ вина.

— Эхъ, не такой судьбы заслуживала бы моя Лена! — совершенно неожиданно добавилъ онъ въ припадкѣ затрапезной откровенности, видимо почувствовавъ неодолимую, свойственную большинству русскихъ людей, потребность излить передъ первымъ встрѣчнымъ всю душу.

Вопросъ о томъ, какъ могла Лена выйти замужъ за графа, какъ могло произойти сочетаніе двухъ до такой степени другъ на друга непохожихъ существъ, занималъ меня съ первыхъ же дней моего знакомства съ Броневскими; вырвавшееся у Пахтурова восклицаніе давало мнѣ, наконецъ, поводъ попытаться разъяснить эту загадку.

— Но бракъ вашей дочери произошелъ, конечно, не безъ вашего согласія и даже одобренія?—замѣтилъ я.

— Никогда не одобрялъ я этого брака,—горячо прервалъ меня Пахтуровъ, — виновата во всемъ жена — не тѣмъ будь, покойница, помянута.—Былъ я тогда въ служебной отлучкѣ и дѣло сварганили безъ меня; когда я вернулся домой, все уже было кончено; оставалось только благословить, да вести жениха и невѣсту подъ вѣнецъ.

— И вы не возражали?

— Какъ не возражать? — возражалъ! Сколько могъ возражалъ! Ужъ больно не понравился мнѣ мой будущій зять... лакированный какой-то щеголь, проборъ до затылка; въ Лену, правда, влюбленъ до страсти, на рукахъ чуть ее не носитъ и съ нами, т. е. съ женой и со мной, предупредителенъ, даже до тошноты, до гадости; а у самого глаза стеклянные, жесткіе, улыбается однимъ ртомъ; разсыпается въ любезностяхъ, а все какъ будто камень за пазухой про всѣхъ насъ держитъ. Съ какой стороны ни погляди — совсѣмъ не подходящій къ нашей семьѣ человѣкъ, къ тому же еще полякъ, католикъ и по-русски говоритъ съ акцентомъ... Сталъ я допрашивать Лену: какія ты въ немъ нашла достоинства? чѣмъ онъ тебя соблазнилъ? — Ничего, говоритъ, не знаю — просто полюбила.— Она, какъ вы знаете, всегда такъ—отрѣжетъ и замолчитъ. — Да увѣрена ли ты, — спрашиваю я еще, — что этотъ польскій графъ тебя, русскую деревенщину, дѣйствительно полюбилъ и

черезъ мѣсяцъ не броситъ? Увѣрена,—говоритъ.— Не подождать ли? не приглядѣться ли?—молчитъ.— А если я своего благословенія не дамъ?—Все равно, говоритъ,—ни за кого другого замужъ не пойду... Ну, словомъ, ни въ какія оглобли! Ошибка наша съ женой заключалась въ томъ, что мы Лену до восемнадцати лѣтъ въ уединеніи, взаперти держали. Полгода жена съ ней въ деревнѣ проводила, а по зимамъ, хоть и жили мы въ Варшавѣ, да въ свѣтъ не выѣзжали, у себя пріемовъ не дѣлали; русскихъ порядочныхъ молодыхъ людей въ Варшавѣ не было — все какая-то шушера, мелкота, дрянь. Немудрено, что въ сравненіи съ ними и Броневскій соколомъ показался.

— Обыкновенная исторія,—подумалъ я,—загадка объясняется очень просто. Если большинство женщинъ зрѣлыхъ и опытныхъ не устаиваютъ противъ притягательной силы возбужденной ими искренней страсти, то какъ же могла устоять молодая, жизнерадостная дѣвушка, почти ребенокъ, ничего не знающій и никого не видавшій, да еще имѣя дѣло съ такимъ бойцомъ, какъ графъ Броневскій, который лѣтъ на десять старше Лены и успѣлъ, конечно, навостриться въ искусствѣ покорять женскія сердца? Для этого вѣдь ни ума, ни достоинствъ особенныхъ не требуется; была бы воля, да самоувѣренность.

— Что же дѣлать, противъ судьбы не пойдешь,— заключилъ я вслухъ мои мысленныя разсужденія, обратившись къ Пахтурову, и, помолчавъ немного, добавилъ:—впрочемъ графиня, кажется, не обманулась въ своемъ выборѣ и совершенно счастлива.

— Мнѣ самому долго такъ казалось, — отозвался Василій Семеновичъ,—и потому-то я совсѣмъ было и примирился съ этимъ бракомъ... А теперь...

Я насторожился...

— А теперь начинаю сомнѣваться: Богъ ее знаетъ, счастлива ли она?

Старикъ задумался, задумался и я; только задумчивость Пахтурова была озабоченная, тревожная, омраченная чѣмъ-то; а у меня отъ радостнаго чувства захватило дыханіе. Лена, быть можетъ, несчастлива—какъ я счастливъ! — почувствовалъ я гдѣ-то глубоко внутри себя и чуть не улыбнулся отъ сопоставленія внѣшней уродливости съ внутренней правдой этого, неожиданно для меня самого раздавшагося въ душѣ, восклицанія.

Мысли мои ушли куда-то далеко...

— И какъ подумаешь, —продолжалъ между тѣмъ громко разсуждать съ самимъ собою Пахтуровъ,— все это проклятые Тангейзеры и Тристаны надѣлали... чтобъ пусто имъ было!

Восклицаніе это вернуло меня къ разговору.

— Они-то тутъ при чемъ, добрѣйшій генералъ?— возразилъ было я.

Пахтуровъ даже не далъ мнѣ договорить и, вспыхнувъ, какъ порохъ, разразился горячей филиппикой не только противъ Вагнера, но и противъ всего, что теперь дается въ театрѣ, пишется въ литературѣ и производится въ искусствѣ, причемъ упомянулъ о Нитше, выказавъ такую для меня неожиданную освѣдомленность и начитанность, что мнѣ оставалось только удивляться, слушать и молчать.

— Герои, герои! сверхчеловѣки! — злобно заключилъ онъ свои слова. — Хотя было бы въ нихъ что-нибудь дѣйствительно новаго, невиданнаго,—а то вѣдь и того нѣтъ! такими сверхчеловѣками у насъ на Руси, споконъ вѣка, хоть прудъ пруди,— сколько угодно. Разница только въ томъ, что у Нитшей и Вагнеровъ вашихъ все объясняется какой-то глубокой философіей, высшимъ предопредѣленіемъ, или, какъ въ Тристанѣ, какими-то волшебными каплями; а у насъ гораздо проще: живу на весь свой капиталъ и не препятствуй моему ндраву! Развѣ это не такъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, Василій Семеновичъ; это совсѣмъ не такъ, — отвѣтилъ я, — но спорить съ вами я теперь не хочу и не буду; я только васъ слушаю съ величайшимъ любопытствомъ и удовольствіемъ.

— Жаль, что не хотите со мною спорить,—отозвался старикъ, — вѣроятно; считаете добрѣйшаго генерала не на достаточной, такъ сказать, высотѣ... съ Пахтуровымъ-де можно иной разъ пошутить, посмѣяться, выпить стаканъ, другой вина; —ну, а объ серьезномъ чемъ-нибудь говорить не стоитъ...

Я хотѣлъ было возразить, но Пахтуровъ не далъ мнѣ сказать ни одного слова.

— Пожалуйста, не отрицайте и не извиняйтесь... этого мнѣ совсѣмъ не нужно, я привыкъ. На меня ужъ давно и начальство и сослуживцы и даже при дворѣ смотрятъ, какъ на пьяницу и шута гороховаго, ни на что другое не способнаго, какъ только анекдотами, да каламбурами тѣшить. Ну, и пусть будетъ такъ. Не въ этомъ суть; а вы, вотъ, ска-

зали, что слушаете меня съ любопытствомъ и удовольствіемъ — это хорошо и мнѣ какъ разъ на руку. Я хочу разсказать вамъ одну исторію... и не исторію даже, а просто, какъ теперь любятъ выражаться, привести фактъ; но прошу вѣрить— фактъ не выдуманный, а происшедшій на самомъ дѣлѣ съ однимъ... (Пахтуровъ задумался на мгновеніе, какъ бы подыскивалъ выраженіе) — съ однимъ очень близкимъ мнѣ человѣкомъ, у котораго отъ меня нѣтъ тайнъ. Я этой исторіи вамъ бы и не разсказалъ, если бы она, какъ разъ, не подходила подъ предметъ нашего разговора и не могла навести васъ на кое-какія поучительныя размышленія, въ особенности передъ вашей поѣздкой въ Карлсруэ.

— Вотъ даже какъ! — замѣтилъ я.

— Это, впрочемъ, будетъ уже отъ васъ зависѣть, сдѣлать какой вамъ угодно выводъ. Мое дѣло разсказать, а затѣмъ проститься съ вами и пожелать добраго пути.

Старикъ, хотя и старался казаться спокойнымъ, но внутренно сильно волновался, очевидно, придавая тому, что онъ хотѣлъ разсказать, какое-то особенно важное значеніе.

Онъ закурилъ новую сигару, откашлялся и началъ:

— Вотъ, изволите ли видѣть: жилъ на свѣтѣ одинъ господинъ — женатый и дѣтей уже имѣлъ. Случайно въ обществѣ встрѣтился онъ съ молодой женщиной, также уже замужней и матерью семейства. Обѣ парочки, т. е. пріятель мой съ женой и та дама съ мужемъ, жили до того времени душа

въ душу, взаимно любили другъ друга и были совершенно счастливы. На бѣду случилось такъ, что пріятель мой возьми, да и полюби эту замужнюю-то женщину и — скажу вамъ — полюбилъ онъ ее такъ безумно, что совсѣмъ, какъ говорится, ошалѣлъ: хоть рѣжься, хоть вѣшайся, хоть въ воду бросайся. Сильныя-то чувства большею частію такъ и приходятъ, какъ снѣгъ на голову.

Къ этому нужно еще вамъ добавить одно очень важное обстоятельство: дама, которую полюбилъ мой пріятель, была милое, прелестное и доброе существо; но женщина, что называется, съ огонькомъ и весьма склонная къ веселью и удовольствіямъ; увлечь ее было легче легкаго. Пріятель же мой, тогда еще молодой гвардейскій офицеръ, только что возвратившійся изъ турецкой кампаніи съ Георгіемъ на груди, считался почему-то однимъ изъ наиболѣе красивыхъ и блестящихъ кавалеровъ въ петербургскомъ обществѣ и при дворѣ, такъ что не онъ за женщинами ухаживалъ, а женщины за нимъ бѣгали. Изъ всего, что я вамъ сказалъ, слѣдуетъ, что у пріятеля моего имѣлись всѣ, такъ сказать, шансы на полный успѣхъ, и захоти онъ только воспользоваться, по всей вѣроятности, онъ достигъ бы своей цѣли. Что̀ изъ этого бы вышло потомъ — одинъ Богъ вѣдаетъ, такъ какъ пріятель мой былъ совершенно неспособенъ на ложь и притворство передъ женой; связь его съ другой женщиной тотчасъ бы обнаружилась; ну, словомъ, я вамъ предоставляю самому судить о всѣхъ возможныхъ послѣдствіяхъ... Вотъ, я и спрашиваю

васъ теперь: что сдѣлали бы всѣ ваши сверхчеловѣки и герои на его мѣстѣ? Я васъ это спрашиваю, сударь мой — что они на мѣстѣ моего пріятеля сдѣлали бы? Извольте мнѣ отвѣтить.

Пахтуровъ строго и вызывающе посмотрѣлъ на меня.

— Что же я вамъ могу на это сказать, Василій Семеновичъ? — отвѣтилъ я. — Я не герой и не сверхчеловѣкъ; почемъ я знаю, что въ каждомъ данномъ случаѣ кто-нибудь изъ нихъ сдѣлалъ бы?

— Вы этого не знаете, — загорячился опять Пахтуровъ, — или, вѣрнѣе сказать, вы это знаете, да не хотите сказать. Ну, такъ я вамъ скажу: всѣ они, безъ исключенія, на мѣстѣ моего пріятэля сдѣлали бы одно и то же: удовлетворили бы свою страсть, погубили молодую женщину, разбили бы счастье и благополучіе двухъ семей, да еще стали бы потомъ хвастаться такимъ злодѣйствомъ, какъ подвигомъ. Вотъ что они сдѣлали бы!

— Вашъ пріятель этого не сдѣлалъ?

— Мой пріятель, — отвѣтилъ Пахтуровъ съ горделивымъ достоинствомъ, — этого, конечно, не сдѣлалъ. Онъ предпочелъ вынести одинъ на своихъ плечахъ всю тяжесть постигшей его бѣды; онъ напрягъ всѣ душевныя силы, сгребъ себя въ руки и молча перенесъ страданія несчастной своей любви — да такъ молча, что ни жена до самой ея смерти, ни та женщина, которую онъ любилъ, и никто на свѣтѣ, кромѣ васъ теперь, никогда не узналъ и не узнаетъ, какія душевныя муки онъ перетерпѣлъ и во что обошлось ему это молчаніе. Чувство-

то его было, какъ я вамъ докладывалъ, не изъ обыкновенныхъ, не простое увлеченіе, не вспышка страсти, а настоящая, сударь мой, любовь.

Пахтуровъ рѣзкимъ движеніемъ двинулъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и стряхнулъ пепелъ сигары. Лицо его какъ-то все сморщилось, рѣсницы задрожали, и слезы навернулись на глаза.

— Да вѣдь, если, какъ вы, Василій Семеновичъ, говорите, любовь была настоящая, — заговорилъ я, — то вашъ несчастный пріятель, котораго по справедливости можно назвать героемъ, тогда же душою и умеръ, или, еще хуже того, заживо себя погребъ.

— Умеръ и погребъ, — подтвердилъ Пахтуровъ.

— За что?

Старикъ не сразу нашелся, что̀ отвѣтить на этотъ вопросъ.

— За что! — тихимъ голосомъ повторилъ онъ наконецъ, уныло понуривъ сѣдую голову, — на этотъ вопросъ каждому человѣку должны отвѣтить его сердце и совѣсть.

— А если именно сердце и совѣсть говорятъ, что такія жертвы приносить не должно, что это безсмысленно, даже по отношенію къ любимой женщинѣ, для которой день, часъ, мгновеніе полнаго счастья, быть можетъ, желательнѣе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ мирнаго, безцвѣтнаго, скучнаго благополучія? Тогда что̀?

— У кого сердце и совѣсть такъ говорятъ, тѣмъ и книги въ руки, — сухо отвѣтилъ Пахтуровъ, — пусть поступаютъ, какъ знаютъ. Только еще одно

скажу вамъ: все это хорошо и даже можетъ почитаться возвышеннымъ на сценѣ и въ книжкахъ, а въ жизни — извините меня — это черезчуръ опасная, черезчуръ жестокая игра; тутъ вѣдь судьба неповинныхъ на карту ставится и, признаюсь, я даже не вѣрю, чтобы настоящій русскій человѣкъ, какъ вы, напримѣръ, или я, были способны когда-нибудь сдѣлаться, не на словахъ, а на дѣлѣ, такимъ сверхчеловѣкомъ, чтобы совсѣмъ совѣсть потерять; у насъ для этого чего-то не хватаетъ или что-то есть лишнее, что мѣшаетъ.

Наступило довольно продолжительное молчаніе.

Время дня для ресторанныхъ завтраковъ прошло, и комната, въ которой мы сидѣли, была уже совершенно пуста. Прислуживавшій намъ гарсонъ, помахивая салфеткой, стоялъ у двери и, съ откровеннымъ нетерпѣніемъ поглядывая на насъ, ожидалъ нашего ухода.

— Ну-съ, вотъ я вамъ и разсказалъ, что хотѣлъ разсказать; а теперь пора гостямъ и по домамъ, — вздохнувъ, проговорилъ Пахтуровъ и всталъ. Мы расплатились, вышли на бульваръ и, несмотря на все, что такъ внезапно и неожиданно осложнило и даже нѣсколько омрачило наши взаимныя отношенія, старикъ очень сердечно со мной простился, и мы оба совершенно искренно выразили надежду опять когда-нибудь, гдѣ-нибудь встрѣтиться попрежнему друзьями. Мнѣ предстояло идти домой по одному направленію съ Пахтуровымъ, но сопутствовать ему мнѣ не захотѣлось. Я переждалъ, пока онъ удалился, и, перейдя

на другую сторону бульвара, не торопясь побрелъ въ смутномъ раздумьи, разсѣянно глазѣя на снующую взадъ и впередъ бульварную толпу.

Разсказъ Пахтурова, который во всякое другое время, вѣроятно, возбудилъ бы во мнѣ борьбу противорѣчивыхъ чувствъ и мыслей — теперь, подъ вліяніемъ всеустраняющей любви моей къ Ленѣ, не произвелъ на меня почти никакого впечатлѣнія. Мнѣ лишь стало сердечно жаль преждевременно одряхлѣвшаго, искусственно, какъ я теперь только понялъ, охмелявшаго и подбадривавшаго себя горемыку, безнадежно поникшаго головой и прослезившагося при воспоминаніи о своемъ молчаливомъ подвигѣ. Проводивъ его глазами, я вздохнулъ и повторилъ про себя оставленный имъ безъ отвѣта вопросъ: за что?

XI.

До отъѣзда моего оставалось еще болѣе сутокъ времени. Эти сначала скучные и медленные, а затѣмъ тревожные и полные волненія часы вспоминаются мнѣ до сихъ поръ, какъ самые тяжелые и темные изъ всего пребыванія моего тогда въ Парижѣ. Мысль, что Лена раздумаетъ ѣхать, или что ей, такъ или иначе, помѣшаютъ исполнить ея желаніе, пріобрѣтая постепенно въ моемъ воображеніи все большее вѣроятіе, до такой степени овладѣла мною, что я лишился способности думать о чемъ-либо другомъ, кромѣ какъ о вопросѣ: состоится наше свиданіе, или нѣтъ?

Вернувшись домой, я безвыходно просидѣлъ въ своей комнатѣ, лихорадочно слѣдя за движеніями стрѣлокъ на каминныхъ часахъ и безъ умолку повторяя про себя все одну и ту же мысль: только бы миновали благополучно эти сутки, только бы уѣхать изъ Парижа, не видавъ ни графа Броневскаго, ни Пахтурова, ни въ особенности Лены, встрѣчи съ которой я почему-то болѣе всего опасался. Подобно страусу, при приближеніи опасности утыкающему голову въ песокъ, я спрятался и замеръ въ томительномъ ожиданіи. Такъ прошли вечеръ, ночь и все утро слѣдующаго дня...

Предчувствіе меня не обмануло. Около полудня, когда, съ отяжелѣвшей отъ безсонной ночи головою, я собрался выйти на улицу, мнѣ подали записку отъ Лены: она коротко извѣщала меня, что не поѣдетъ въ Карлсруэ на представленіе Тристана и, предвидя, что мы не скоро опять увидимся, просила меня зайти къ ней пораньше, до завтрака, проститься.

Предоставляю вамъ судить, какое впечатлѣніе произвела на меня эта записка и въ какомъ расположеніи духа я пошелъ прощаться съ Леной. Она приняла меня не у себя въ помѣщеніи, гдѣ, по ея словамъ, царилъ предотъѣздный безпорядокъ, а въ общемъ читальномъ залѣ гостиницы, оказавшемся случайно въ то время свободнымъ отъ другихъ посѣтителей. Какъ и наканунѣ, Лена была въ шляпкѣ, съ перчатками въ рукѣ...

Еще по дорогѣ изъ дома, обдумывая свое положеніе, я твердо рѣшился, во-первыхъ, не отмѣнять

ни въ какомъ случаѣ моей поѣздки въ Карлсруэ, хотя бы лишь для того, чтобы не оправдать предсказанія Пахтурова; а затѣмъ въ предстоящемъ разговорѣ съ Леной болѣе чѣмъ когда-либо быть сдержаннымъ, сохранять полное наружное спокойствіе, не уговаривать ее и не спорить противъ ея рѣшенія. Если она не можетъ ѣхать, — разсуждалъ я: — если ей это запрещаютъ мужъ или отецъ — уговоры и убѣжденія были бы излишни и только усугубили бы душевную боль, которую Лена несомнѣнно испытываетъ. Если же она сама раздумала, сама расхотѣла, то какой смыслъ имѣла бы и самая поѣздка? Стало быть и первоначальная мысль объ этой поѣздкѣ была ничѣмъ инымъ, какъ только прихотью, исканіемъ случайнаго развлеченія, которое можно съ одинаковою легкостью и затѣять, и отмѣнить, въ зависимости отъ минутнаго настроенія. Въ такомъ случаѣ настоянія были бы смѣшны и для меня унизительны.

— Вы не ожидали моей записки? Вы на меня сердитесь? — были первыя слова, съ которыми Лена обратилась ко мнѣ, когда мы вошли въ читальный залъ.

Она казалась спокойной, но лицо ея было блѣдно и выражало какую-то утомленную покорность. Я заключилъ, что изъ двухъ моихъ предположеній вѣрно было первое, то есть, что къ поѣздкѣ Лены встрѣтилось внѣшнее препятствіе, съ которымъ она боролась, но одолѣть котораго не могла.

— Напротивъ, графиня,—отвѣтилъ я,—ваша записка не была для меня неожиданностью; я былъ почти увѣренъ, что вамъ нельзя будетъ ѣхать.

— Вы думаете: меня удерживаетъ мужъ?

— Графъ, или вашъ отецъ, или оба вмѣстѣ — не все ли равно? Послѣдствіе одно и то же: мечта, которая не далѣе, какъ вчера утромъ, вамъ казалась такъ легко осуществимой, разлетается дымомъ, и Тристана вы не услышите.

Лена опустила голову и стала сучить перчатки.

— Для меня было бы проще и спокойнѣе оставить васъ въ этомъ заблужденіи,—заговорила она послѣ нѣкотораго колебанія,—но я не хочу, чтобы между вами и мной была хоть тѣнь какой-нибудь неправды. Вы ошибаетесь: отца я не видала и не говорила съ нимъ со вчерашняго дня, а мужъ меня пускаетъ.

Лена прямо взглянула мнѣ въ глаза и съ грустной улыбкой прибавила:

— Я сама не хочу ѣхать.

— Не стоитъ?—спросилъ я.

— Нѣтъ, Степанъ Михайловичъ, не «не стоитъ», а не слѣдуетъ мнѣ, не должна я ѣхать,—убѣжденно произнесла Лена.

И тутъ только я понялъ, что кромѣ внѣшней невозможности, или капризнаго нежеланія Лены, могло возникнуть еще третье, и притомъ самое опасное и трудно одолимое препятствіе—страхъ Лены предъ слишкомъ сильнымъ, слишкомъ властнымъ впечатлѣніемъ отъ этого, еще неизвѣстнаго ей, но безконечно заманчиваго видѣнія, отъ этого волшебнаго «Тристана», который въ послѣдніе дни сталъ для нея предметомъ напряженнаго любопыт-

ства и ожиданія; въ сущности—страхъ передъ самой собою.

Изъ послѣдующихъ словъ Лены я убѣдился, что эта догадка моя была вѣрна.

— Я долго думала, долго колебалась передъ тѣмъ, чтобы вамъ написать, — заговорила опять Лена. — Стыдно даже сознаться, до какой степени мнѣ хотѣлось и хочется ѣхать, какъ тяжело мнѣ отказаться отъ надежды услышать Тристана и именно теперь, въ Карлсруэ, когда и вы будете тамъ... Вѣдь вы все-таки туда поѣдете?

— Непремѣнно.

Лена какъ будто не ожидала такого рѣшительнаго отъ меня отвѣта, смутилась и потеряла нить своихъ мыслей, но скоро, ухвативъ ее вновь, продолжала.

— Да, конечно, отчего же вамъ мѣнять ваши планы? А я рѣшилась не ѣхать именно потому, что мнѣ такъ сильно этого хочется. Развѣ позволительно мнѣ — матери семейства, въ мои годы — и вдругъ такое ребячество, такое малодушіе! И потомъ я вамъ еще признаюсь: никогда мнѣ раньше въ голову не приходило, что я такая нервная, такая впечатлительная. Вѣрите ли? — послѣ того, какъ мы съ вами побывали въ Луврѣ, мнѣ Леонардовскія лица — эта Джоконда, да и Вакхъ тоже — по ночамъ снятся, въ глаза мнѣ глядятъ, будто о чемъ-то допрашиваютъ, будто уличаютъ меня въ какомъ-то тайномъ преступленіи, котораго я за собою не знаю. А Тангейзеръ! — Его пѣсня до сихъ поръ звучитъ у меня въ ушахъ

и — что̀ досаднѣе, обиднѣе всего — нравится мнѣ эта пѣсня! Полюбилась она мнѣ и, кажется, будь я на мѣстѣ Елизаветы, я не только не испугалась бы, не пришла бы отъ нея въ ужасъ и отчаянье, а, напротивъ, Тангейзеръ — такой именно, какой онъ былъ, когда пѣлъ эту пѣсню, — опьяненный, безумный, проклятый всѣми и нераскаянный, сталъ-бы для меня еще краше, еще дороже, чѣмъ былъ прежде. Что̀ же хорошаго въ такихъ впечатлѣніяхъ? Къ чему они ведутъ? Я въ это послѣднее время даже дѣтьми почти перестала заниматься. А вы говорите, что Тристанъ еще гораздо сильнѣе Тангейзера, что это какая-то вершина! Нѣтъ— Богъ съ ней, съ этой вершиной! Прожила до сихъ поръ безъ всего этого — проживу какъ-нибудь и послѣ... обойдусь...

Въ послѣднихъ словахъ Лены и во взглядѣ, который она на меня кинула, сказалось даже какое-то раздраженіе, еще усилившееся, когда въ отвѣтъ на горячую рѣчь Лены я промолчалъ.

— Видите, — сказала она, — вы ничего не можете возразить; вы со мной согласны.

— Да, графиня, — заговорилъ я наконецъ,—теперь я вижу, что вамъ дѣйствительно не слѣдуетъ ѣхать въ Карлсруэ слушать Тристана, не слѣдуетъ увлекаться призраками и выбиваться изъ колеи, по которой до сихъ поръ катилась ваша жизнь. Я съ вами совершенно согласенъ, но при одномъ условіи — чтобы и вы согласились съ опредѣленіемъ русской женщины, сдѣланнымъ Василіемъ Семеновичемъ, когда мы недавно ужинали вмѣстѣ и

противъ котораго вы, почему-то такъ горячо, возстали.

— Папа, кажется, назвалъ русскую женщину мямлей,—покраснѣвъ, замѣтила Лена.

— Это неудачное выраженіе я забылъ, а помню только глубокое и очень вѣрное замѣчаніе вашего отца, что въ душѣ почти каждой настоящей русской женщины заложены неоцѣненныя сокровища ума и сердца. Я называю эти сокровища общимъ именемъ внутренняго идеала. Вотъ этотъ-то высокій идеалъ въ русской женщинѣ большею частію почему-то и пропадаетъ безъ всякаго примѣненія къ жизни, — другими словами: русская женщина не обладаетъ достаточной силой воли и смѣлостью, чтобы отъ сознанія идеала перейти къ его осуществленію и проживаетъ свой вѣкъ, какъ вѣрно замѣтилъ вашъ отецъ, никому не на радость и себѣ не въ утѣшеніе.

— Но, — прервала меня Лена, — если уже на то пошло и вы вспоминаете слова отца, то припомните, что про меня-то онъ сказалъ другое, что я будто бы... ну я ужъ тамъ не знаю, какъ онъ выразился.

— Вашъ отецъ сказалъ, что вы изъ тысячи русскихъ женщинъ являетесь единственнымъ исключеніемъ, — напомнилъ я.—Въ этомъ Василій Семеновичъ ошибся: вы такая же, какъ и всѣ прочія.

— Какой вы недобрый,—укорила меня Лена.— Лучше бы вы разсердились, заспорили со мной, чѣмъ соглашаться такъ, какъ вы соглашаетесь.

— А съ какой радости мнѣ быть добрымъ? — возразилъ я подъ вліяніемъ внезапно охватившаго меня горькаго чувства. — Ни судьба, ни люди никогда меня не баловали и не жалѣли и въ продолженіе всей жизни, стоило мнѣ чего-нибудь искренно и сильно пожелать, на кого-нибудь твердо понадѣяться, чтобы непремѣнно потомъ раскаяться и разочароваться. Мнѣ и остается только одно, если не утѣшеніе, то, по крайней мѣрѣ, хоть нѣкоторое удовлетвореніе: опредѣлять въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, кто и какой плетью меня хлещетъ.

— А это, что̀ вы теперь говорите,—дрожащимъ отъ волненія голосомъ прервала опять меня Лена,—это еще злѣе и несправедливѣе того, что вы сказали прежде. Неужели вы не понимаете, не чувствуете, сколько усилій надъ собою, сколько борьбы мнѣ стоило мое рѣшеніе? Я предвидѣла, что огорчу васъ, и если это дѣлаю, то только потому...

— Не договаривайте, графиня, — остановилъ я Лену. — Все, что вы можете мнѣ сказать, я знаю напередъ, знаю наизусть. Вы заговорите о священныхъ обязанностяхъ жены и матери, о необходимости самоотреченія. При другихъ, конечно несравненно болѣе важныхъ, болѣе, такъ сказать, знаменательныхъ въ жизни обстоятельствахъ, чѣмъ нашъ съ вами невинный замыселъ послушать вмѣстѣ Тристана, борьба, которая происходитъ теперь въ васъ и съ тѣмъ же отрицательнымъ исходомъ, давно нашла свое вѣрное отраженіе въ нашей литературѣ. На пути этого самоотреченія вы идете

по стопамъ Пушкинской Татьяны, Тургеневской Лизы и еще многихъ другихъ русскихъ героинь, міросозерцаніе которыхъ, въ свою очередь, покоится на незыблемыхъ, надежныхъ основахъ Домостроя. Сохрани меня Богъ колебать въ васъ эти основы! Если до сихъ поръ могло казаться, что я это дѣлаю, то и этому есть свое оправданіе. Я вѣдь думалъ... мнѣ казалось, что вы не Татьяна и не Лиза; что вы—простите мнѣ дерзость уменьшительнаго имени — что вы Лена; что для васъ всѣ эти мнимо-идеальныя, а въ сущности только слабовольныя и боязливыя дѣвицы и женщины—не указъ; что вы — сами по себѣ и, какъ думаетъ вашъ отецъ, дѣйствительно составляете исключеніе изъ общаго правила, являетесь свѣтлымъ лучомъ на фонѣ сѣрой обыденности. Разъ это не такъ, разъ вы такая же, какъ и всѣ прочія—я преклоняюсь, умолкаю и вполнѣ искренно готовъ съ вами согласиться: вы лучше поступите, если не поѣдете въ Карлсруэ, а прямо отъ вашей тетушки изъ Бадена направитесь домой. Тамъ, по вашимъ собственнымъ словамъ, потечетъ опять тихая, нормальная жизнь и въ сумеркахъ набожной семейственности, подъ сѣнію воскресшихъ воспоминаній о Богоматери Васнецова и объ очень хорошихъ дняхъ дѣтски-наивнаго благополучія (счастьемъ я это не называю) скоро исчезнутъ изъ памяти и Леонардовская Джоконда, и пѣсня Тангейзера, да, кстати, и вся та болтовня, которою я позволялъ себѣ иногда занимать ваши путевые досуги. Сначала вамъ будетъ скучно; вы пройдете черезъ часы тайнаго воз-

мущенія противъ темной и грубой дѣйствительности, станете и жалѣть, и упрекать, и даже, какъ будто, немножко презирать себя за вашу покорность; но, повѣрьте, — время возьметъ свое. Искушеніе пройдетъ и опять все вернется къ прежнему достодолжному порядку. Вы увѣрите себя, что отъ добра—добра не ищутъ, что на жизнь, какова бы она ни была, жаловаться грѣшно и, въ концѣ концовъ, достигнете высшаго, въ глазахъ всѣхъ Татьянъ и Лизъ, земного благополучія — покоя, украшеннаго пріятнымъ сознаніемъ исполненнаго долга и принесенной жертвы. Нужды нѣтъ въ томъ, что въ глубинѣ души вы будете иногда очень ясно сознавать всю мнимость этого долга и всю ненужность этой жертвы; ни другимъ, ни даже самой себѣ вы никогда въ этомъ не признаетесь — и хорошо сдѣлаете. Такое признаніе отравило бы сладость душевнаго сна. Для большаго успокоенія, я могу дать вамъ обѣщаніе: никогда не пріѣзжать въ Варшаву, чтобы не напоминать, хотя бы однимъ своимъ присутствіемъ, о случайномъ и, слава Богу, мимолетномъ вашемъ увлеченіи идеаломъ искусства, то есть идеаломъ правды и красоты, осуществленіе котораго въ жизни вамъ, повидимому, кажется опаснымъ и нежелательнымъ.

— Мама, мама... тебя спрашиваетъ дама,— раздался въ это мгновеніе дѣтскій крикъ вбѣжавшей въ читальню дѣвочки, а слѣдомъ за ней въ дверяхъ появилась и фигура самой дамы, въ которой я тотчасъ же узналъ жену дипломата, встрѣчен-

ную мною у Броневскихъ во время моего перваго къ нимъ визита.

Появленіе это до такой степени меня раздражило, что, потерявъ самообладаніе, я не удержался и сказалъ Ленѣ: вы видите, какъ удобно разговаривать въ общей комнатѣ, куда всѣ могутъ входить прямо съ улицы.

— Она, вѣрно, скоро уйдетъ,—успѣла шепнуть мнѣ Лена, и пошла навстрѣчу гостьѣ, которая уже входила въ читальню и тотчасъ же затараторила о прелести пребыванія въ Біаррицѣ, о встрѣченныхъ ею тамъ общихъ знакомыхъ и о томъ, какъ она рада застать графиню еще въ Парижѣ.

— Васъ,—обратилась она ко мнѣ,—я никакъ не ожидала здѣсь видѣть: вы такъ бранили Парижъ!— Впрочемъ—добавила она съ дрянной усмѣшкой— Hélène успѣла, можетъ быть, васъ съ нимъ примирить?

Двусмысленность, прозвучавшая въ этихъ словахъ, меня окончательно взорвала.

— Нѣтъ, — грубо отвѣтилъ я, — для примиренія съ Парижемъ я ждалъ вашего возвращенія.

— C'est une amabilité, à laquelle je n'avais ni le droit, ni le désir de prétendre,—огрызнулась дама.

— Я очень завидую Степану Михайловичу; онъ сегодня прямо отсюда ѣдетъ въ Карлсруэ на представленіе Вагнеровской оперы,—примирительно вмѣшалась Лена, но попытка ея успокоить мое и собесѣдницы моей взаимное раздраженіе не увѣнчалась успѣхомъ и даже подлила масла въ огонь.

— Я бы не поѣхала такъ далеко, чтобы слу-

шать такую скучную какофонію, — презрительно замѣтила дама.

— Конечно,—отозвался я,—французскія шансонетки доступнѣе и веселѣе; но я не смѣю возноситься вмѣстѣ съ вами въ столь возвышенныя области искусства.

И, пропустивъ мимо ушей какое-то рѣзкое замѣчаніе въ конецъ разсерженной хулительницы Вагнера, я обратился къ Ленѣ:

— Прощайте, графиня,—спѣшу идти домой. Вы мнѣ сказали недавно, чтобы я пожелалъ вамъ чего-нибудь очень хорошаго; тогда я не нашелся, теперь могу это исполнить: желаю вамъ счастливаго пути, благополучнаго возвращенія домой, а дома—возобновленія прежняго вашего благоденственнаго и мирнаго житія.

— Но развѣ вы не зайдете проститься съ отцомъ?—удивленно и вопросительно взглянувъ мнѣ въ глаза, прервала меня Лена.

— Я съ Василіемъ Семеновичемъ уже простился вчера.

Наступило краткое молчаніе.

— Прощайте,—повторилъ я, протягивая руку Ленѣ.

Она растерянно ее пожала невольно задерживавшей меня рукой. Быстро и судорожно поцѣловалъ я эту дорогую мнѣ руку, поклонился и вышелъ.

Только теперь, когда по прошествіи долгаго времени я стараюсь востановить въ памяти подробности послѣдняго моего посѣщенія Лены въ Парижѣ, становится для меня ясно, въ какомъ со-

стояніи невмѣняемости я долженъ былъ тогда находиться, чтобы вести себя такъ, какъ я себя велъ. Разсказывая все это, я, какъ видите, не жалѣю себя и не прикрашиваю своихъ поступковъ, потому что откровенная моя исповѣдь еще полнѣе, еще ярче должна освѣтить въ вашихъ глазахъ образъ той женщины, которая, сквозь наружную рѣзкость моего съ ней обращенія, почуяла и поняла все, что происходило тогда въ моей душѣ, и не только меня окончательно отъ себя не оттолкнула, но нашла еще возможность, какъ вы тотчасъ это увидите, меня утѣшить, приласкать и почти успокоить.

Я вышелъ на улицу съ такою путаницею мыслей и ощущеній, которую трудно передать словами. Продолжаю я любить Лену, или сразу возненавидѣлъ ее? Порвалъ я съ ней всѣ отношенія, или, напротивъ, завязалъ еще крѣпче ихъ узелъ? было ли все происшедшее сейчасъ и сказанное мною вздорной выходкой, или дѣйствительно мы разстались съ Леной надолго, можетъ быть навсегда?—я ничего отчетливо не сознавалъ. Сердце билось, въ головѣ стоялъ какой-то нестройный шумъ, сливавшійся съ шумомъ уличной толпы, не замѣчая котораго я куда-то зачѣмъ-то шелъ впередъ... Вдругъ, изъ этого шума слухъ мой безсознательно сталъ выдѣлять стукъ легкихъ, быстро приближавшихся ко мнѣ сзади шаговъ; кто-то со мною поровнялся и чей-то женскій голосъ сказалъ мнѣ: «Она вамъ этого не проститъ». Я понялъ, что эти слова относились къ оскорбленной

мною дамѣ и отвѣтилъ только повтореніемъ послѣдняго слова: «проститъ»; но не успѣлъ я еще произнести этотъ совершенно безсмысленный звукъ, какъ тутъ же и почувствовалъ, что шаги, раздавшіеся за мною, были шаги Лены, что это она меня догнала и, со мною поровнявшись, заговорила... Я очнулся и остановился,—предо мною дѣйствительно была Лена и улыбаясь смотрѣла на меня своими добрыми, ясными, прямыми глазами, въ которыхъ я прочиталъ и обличеніе моей несдержанности, и что Лена меня оправдываетъ и не сердится.

— Простите меня, графиня,—заговорилъ я смущенный и умиленный,—я такъ былъ занятъ своими мыслями, что даже сразу не узналъ вашего голоса.

— Я это вижу,—отвѣтила Лена,—да и сама я заговорила съ вами совсѣмъ не о томъ, для чего хотѣла еще разъ васъ видѣть. Мнѣ было очень тяжело проститься съ вами такъ, какъ мы простились. Богъ знаетъ, когда мы увидимся... вы вѣдь сказали, что не пріѣдете ко мнѣ въ Варшаву.

— Не повторяйте, ради Бога, всѣхъ глупостей, которыя я вамъ сейчасъ наговорилъ!—воскликнулъ я.—Вы видите, въ какомъ я состояніи.

— Ну хорошо, не буду повторять,—какъ бы успокаивая капризнаго ребенка, согласилась Лена. Во всякомъ случаѣ, если черезъ нѣкоторое время мы и встрѣтимся съ вами—ни я, ни вы не будемъ уже тѣми, что̀ теперь; а мнѣ хочется, чтобы воспоминанія объ нашей встрѣчѣ здѣсь, въ Па-

рижѣ, ничѣмъ не было испорчено и оставалось въ насъ обоихъ свѣтлымъ и хорошимъ. Я вамъ безконечно благодарна за ваше милое ко мнѣ отношеніе и за все...

— Неужели,—прервалъ я Лену,—рѣшеніе ваше не ѣхать въ Карслруэ безповоротно?

Лена, не отвѣтивъ, медленно повернула назадъ по направленію къ гостиницѣ.

— Вы вѣдь сами согласились съ мной, что мнѣ не слѣдуетъ туда ѣхать,—въ нерѣшительномъ раздумьѣ произнесла она.

— Опять, графиня, вы повторяете слова, сказанныя мною подъ вліяніемъ минутнаго раздраженія, въ которомъ я уже принесъ вамъ чистосердечное раскаяніе. Идя къ вамъ изъ дома, я рѣшилъ не спорить съ вами, не уговаривать васъ, но и это рѣшеніе было совершенно нелѣпо. Какъ же не уговаривать, какъ же не спорить, когда видишь, что молодая, живая, чуткая душа, Богъ знаетъ для чего и для кого, хочетъ убить въ себѣ все живое, погасить искру Божію! Чего вы боитесь! Какая опасность можетъ вамъ грозить отъ того, что вы, быть можетъ, единственный разъ въ жизни, поступите согласно вашему внутреннему чувству и исполните желаніе, въ которомъ, право же нѣтъ ничего предосудительнаго, даже съ вашей точки зрѣнія? Вы сейчасъ мнѣ сказали большую правду: пройдетъ немного времени и вы уже будите не та, что теперь; вамъ, можетъ быть, самой уже не захочется той радости, которая васъ зоветъ, пока вы молоды, пока ваша душа воспріим-

чива ко всему высокому и прекрасному. Не раскаетесь ли вы, пропустивъ время, которое никогда больше не вернется?

— А не пропустила ли я его уже и теперь?— вздохнула Лена и, дойдя до гостиницы, остановилась. Взглядъ ея неопредѣленно блуждалъ по сторонамъ, стараясь избѣгать моего взгляда.

— Прощайте,—проговорила она наконецъ,—можетъ быть, до свиданія въ Варшавѣ?

— А не въ Карлсруэ?—въ послѣдній разъ спросилъ я.

Лена отрицательно покачала головой.

— Едва ли,—произнесла она и отвернулась.

Распахнувшаяся передъ нею дверь гостиницы быстро вновь затворилась, и я остался одинъ на улицѣ подъ тѣмъ же навѣяннымъ мнѣ Леною при первой моей встрѣчѣ съ нею впечатлѣніемъ загадочно-сверкающей зарницами знойной іюльской ночи, въ которой все красота и все тайна,—ночи, созерцая которую не скажешь, не угадаешь напередъ—будетъ ли она до зари, до утра только нашептывать волшебныя сновидѣнія и грезы счастія, или въ таинственныхъ потьмахъ своихъ соберетъ тучи и разразится грозой.

XII.

Въ продолженіе двухъ дней, прожитыхъ мною въ Карлсруэ до представленія Тристана, въ сознаніи моемъ не переставало повторяться послѣднее брошенное мнѣ Леною слово—«едва ли». И чѣмъ

больше я его повторялъ, чѣмъ напряженнѣе мысленно прислушивался къ звуку голоса, которымъ Лена его произнесла, тѣмъ явственнѣе мнѣ въ немъ слышалось доброе предвѣстіе, даже обѣщаніе; такъ что, когда сталъ приближаться часъ прихода поѣзда, съ которымъ Лена, если бы она не отмѣнила своего рѣшенія, должна была пріѣхать въ Карлсруэ— я пошелъ на станцію, взялъ пропускъ на площадку и сталъ дожидаться. Такъ же какъ и наканунѣ, когда я купилъ въ кассѣ театра два билета, вмѣсто одного, я мысленно старался убѣдить себя, что надежда моя увидѣть Лену ни на чемъ не основана, что это просто какое-то глупое, ребяческое упрямство, которому не слѣдовало бы поддаваться, чтобы не стать потомъ смѣшнымъ въ собственныхъ глазахъ. Но одолѣть этой увѣренности тѣмъ не менѣе я не могъ. Напротивъ, чѣмъ ближе подходило время, тѣмъ она становилась во мнѣ крѣпче—и когда, наконецъ, поѣздъ подошелъ къ станціи, дверцы вагоновъ отворились и въ одной изъ нихъ дѣйствительно появилась Лена въ знакомомъ мнѣ сѣромъ шерстяномъ платьѣ, съ накидкой на плечахъ и простенькой соломенной шляпой на головѣ, я даже не удивился—такъ должно было непремѣнно случиться; Лена не могла не пріѣхать.

Увидавъ меня, она сдѣлала мнѣ знакъ рукой; я подошелъ, мы поздоровались, какъ ни въ чемъ не бывало, и только, когда, миновавъ толпу высаживающагося изъ поѣзда и входящаго въ него народа, мы очутились уже на улицѣ, Лена съ улыбкой, вскинувъ сквозь опущенную на лицо вуалетку

на меня глаза, прервала наше смущенное, радостное молчаніе.

— Вы все-таки меня ждали?—сказала она.

— Да, графиня, ждалъ. У меня было какое-то предчувствіе, даже болѣе — какая-то увѣренность, что я васъ сегодня здѣсь увижу, что въ борьбѣ Домостроя съ Вагнеромъ—Вагнеръ побѣдитъ.

Лена сдѣлала видъ, что не слыхала послѣднихъ словъ, напоминавшихъ нашъ прощальный съ нею разговоръ въ Парижѣ.

— Вы были увѣрены, что я пріѣду, — отвѣчала мнѣ она,—а я, сидя въ вагонѣ, почему-то тоже надѣялась, то есть думала,—поправила себя Лена,— что вы придете меня встрѣтить.

И какъ бы въ оправданіе свое прибавила:

— Вѣдь, одна я была бы здѣсь совсѣмъ какъ въ лѣсу и съ моимъ прекраснымъ нѣмецкимъ языкомъ, пожалуй, не отыскала бы и театра.

— Отчего вы не телеграфировали?—спросилъ я.

— Я до послѣдней минуты была увѣрена, что я не поѣду,—простодушно отвѣтила Лена,—и рѣшилась ѣхать только тогда, когда телеграфировать уже было поздно.

— Я вамъ и билетъ приготовилъ.

— И о билетѣ я тоже въ дорогѣ думала: ну, какъ не найду!

Лена громко разсмѣялась.

И въ этомъ смѣхѣ, и въ нѣкоторой несвойственной Ленѣ торопливости рѣчи и походки мнѣ ясно сказывалось нервное напряженіе и какая-то боязнь высказаться самой, или дать мнѣ сказать то, что

и она, и я одинаково чувствовали внутри себя, но еще не рѣшались довѣрить другъ другу и выразить въ словахъ. Она старалась сохранить за разговоромъ характеръ пустой болтовни и долго безъ умолку говорила о подробностяхъ своего переѣзда изъ Бадена, о томъ, какіе въ ея отдѣленіи сидѣли смѣшные пассажиры, наконецъ о впечатлѣніи, производимомъ на нее внѣшнимъ видомъ Карлсруэ.

— Вотъ, должно быть, скучный, нѣмецкій городишка!.. какая несносная аккуратность и правильность! — восклицала она, окидывая оживленными, совершенно противорѣчащими понятію о скукѣ, взглядами прямыя улицы и чистые, нарядные, обсаженные стриженными деревцами дома, мимо которыхъ намъ приходилось идти. — То ли дѣло у насъ въ Баденѣ—тамъ прелесть, какъ хорошо!

— Еще бы! — съ невольной усмѣшкой и подражая тону Лены, отвѣчалъ я, — одна Лихтенталевская аллея чего стоитъ! А «Conversation», а русское дерево! Вамъ это дерево и вообще весь Баденъ не напоминаютъ Тургенева и его «Дымъ»?

Лена тотчасъ же почувствовала, что я понялъ причину ея не совсѣмъ естественной словоохотливости. Не отвѣчая мнѣ, она искоса на меня взглянула и все остальное пространство пути до театра, гдѣ скоро должно было начаться представленіе и куда со всѣхъ сторонъ уже стекалась публика, мы прошли замедленнымъ шагомъ и молча.

Мы продолжали молчать и тогда, когда, поднявшись по ступенямъ широкой лѣстницы, остановились у колоннъ, передъ входомъ въ театральное

зданіе, медля почему-то переступить черезъ его порогъ. На городъ и паркъ, окружающій театръ, уже падали вечернія сумерки и изъ-за деревьевъ выплывала луна. Послѣ медленнаго, долгаго дня ожиданія, мнѣ теперь казалось, что время быстро помчалось, увлекая и насъ куда-то съ собою, и что заря тоже торопилась угаснуть, чтобы дать мѣсто налетавшей на насъ съ Леной сказкѣ ночи. Задумчиво опустивъ голову и постукивая концомъ зонтика о камень ступени, на которой мы остановились, Лена, какъ бы заканчивая вслухъ рядъ мыслей, прошедшихъ въ ея головѣ, сказала:

— И все-таки я попала сюда и буду сейчасъ вмѣстѣ съ вами слушать Тристана... Какъ все это странно вышло...

— И какъ хорошо, — добавилъ я.

— Нѣтъ, нѣтъ, — возразила Лена и въ голосѣ ея опять прозвучала строгая, серьезная нота,— это не хорошо... Я знаю... я не должна была пріѣзжать сюда. Я, можетъ быть, никогда не прощу себѣ сегодняшняго вечера... но теперь уже поздно объ этомъ думать... Пойдемте, кажется, пора.

Было дѣйствительно пора. Мы только успѣли при входѣ сдать прислугѣ верхнія платья, отыскали наши мѣста въ потемнѣвшемъ уже партерѣ—и представленіе началось.

Передавать вамъ содержаніе «Тристана» я не буду: вы его, конечно, знаете. Описать тотъ вечеръ въ театрѣ, какъ всякое другое событіе моей жизни, разсказать, какъ игралъ оркестръ, какіе пѣли пѣвцы и какое впечатлѣніе произвели они на слушателей,

я рѣшительно не могу. Все происшедшее вокругъ насъ и даже съ нами самими, съ минуты, когда раздались первые звуки музыкальнаго вступленія, и до послѣдняго заключительнаго аккорда, обрывки мыслей, которыми мы отъ времени до времени въ полусловахъ обмѣнивались съ Леной во время представленія и въ антрактахъ, когда съ отдыхающей и курящей толпой выходили въ паркъ — все это слилось въ одно общее, поглотившее всѣ подробности, воспоминаніе о какомъ-то вѣщемъ видѣніи, раскрывшемъ намъ сокровенную до той поры отъ насъ самихъ тайну нашей любви и нашего счастья. Образы и голоса набѣжавшей и охватившей насъ бури вдохновенія говорили намъ нѣчто совершенно новое, неизвѣстное намъ до того времени и имѣвшее, только нами одними ощутимую, связь съ тѣмъ, что происходило на сценѣ. Эти образы и голоса повѣдали намъ, что кромѣ заурядныхъ чувствъ, искры которыхъ въ игрѣ повседневной жизни въ такомъ множествѣ мелькаютъ передъ глазами посреди людской толпы, зажигаясь, перебѣгая съ мѣста на мѣсто и угасая, съ легкостью и послушаніемъ огней балетныхъ феерій, по заранѣе придуманному декораторами росписанію, — что кромѣ этихъ искусственныхъ вспышекъ мелкихъ страстей и человѣческой похоти, зажигаются порою въ сердцахъ избранниковъ судьбы, какъ на жертвенникахъ священныхъ алтарей, костры иного пламени — стараго, какъ міръ, но и рѣдкаго, какъ чудо, возжигаемаго и гасимаго лишь невидимою рукою того же таинственнаго бога, который зажигаетъ и гаситъ самоё жизнь.

Онъ одинъ властелинъ надъ этимъ пламенемъ, и нѣтъ на землѣ силы, властной ему противустоять.

Посмотрите, — показывали намъ видѣнія и убѣждали насъ звуки — какъ мучительна и безплодна борьба противъ неизбѣжнаго, какъ ненужны и тщетны всѣ усилія погасить въ себѣ священный огонь! Подобно Тристану и Изольдѣ, вы хотѣли испить смертоноснаго яда разлуки и забвенія, а судьба взяла и привела васъ обоихъ сюда, въ этотъ храмъ, чтобы мы—созданія генія—дали вкусить вамъ чудодѣйственнаго напитка, который освободитъ васъ отъ тяготѣющаго надъ вами гнета житейскаго обмана и укажетъ путь къ призывающей васъ свободѣ вѣчной правды. Смотрите, какъ эта чистая, бѣлая какъ снѣгъ, правда, въ лицѣ Изольды, смѣло загасивъ факелъ лживаго и лукаваго разсудка, даетъ вамъ, наконецъ, условный знакъ и манитъ за собою вдаль, въ царство неразсуждающей, безхитростной любви. Слышите, слышите, какъ громко, все съ возрастающимъ желаніемъ, кличетъ она васъ къ себѣ и какую радость, какое блаженство сулитъ, если вы безъ страха и колебанія поспѣшите на ея зовъ. Не медлите, не сомнѣвайтесь, не слушайте предостерегающаго голоса благоразумной Брангены. Какое вамъ дѣло то того, что потонувшая въ мракѣ вашего счастья дѣйствительность готовитъ вамъ злыя засады? Пусть придутъ, пусть окружатъ васъ со всѣхъ сторонъ враждебные призраки; пусть станутъ они допрашивать: кто научилъ васъ измѣнѣ и что̀ бросило васъ въ объятія другъ друга? Вы отвѣтите имъ тогда, какъ

Тристанъ отвѣтилъ добродѣтельному королю Марку, что—жалкія существа, въ которыхъ никогда не зажигалось божественное пламя истинной любви — они вовѣки не узнаютъ и не поймутъ того, о чемъ спрашиваютъ; а когда, въ гнѣвѣ и обидѣ, эти блѣдные, скучные, ревнивые призраки станутъ мстить вамъ и мучить васъ, и даже убивать — знайте, что всѣ грядущія страданія, всѣ бѣды и напасти будутъ казаться вамъ побѣднымъ торжествомъ и даже въ самой гибели и смерти вамъ скажется не наказаніе, не мщеніе, а награда.

Вотъ, что повѣдало намъ вѣщее видѣніе и, когда мы всецѣло восприняли его откровеніе, — звуки тотчасъ же замерли, образы исчезли за упавшею передъ глазами занавѣсью и въ озарившемся вновь огнями театрѣ публика зашумѣла и задвигалась вокругъ Лены и меня; но мы были уже внѣ блеска этихъ огней и внѣ этого движенія. Догадавшись только, что намъ слѣдуетъ уходить изъ театра, мы обмѣнялись молча взглядами, встали со своихъ мѣстъ и пошли къ выходнымъ дверямъ по узкому проходу между креслами и ложами. Медленно подвигаясь впередъ, я сознавалъ одно: что эта рука и плечо Лены крѣпко прислоняются къ моей рукѣ и моему плечу и еще,—что насъ обоихъ, какъ непроницаемою стѣною, что-то окружаетъ и отдѣляетъ отъ остальной толпы. Мы были въ ней совершенно одни, какъ бы съ глазу на глазъ, и молчали вовсе не изъ боязни быть подслушанными посторонними людьми, а потому, что насъ насквозь проникало одно общее чувство, вы-

сказывать которое было бы такъ же странно и не нужно, какъ говорить громко съ самимъ собою. Людское теченіе вынесло насъ изъ зрительнаго зала. Съ цѣлесообразною точностью движенія автоматовъ, мы отыскали наши платья, я надѣлъ пальто, набросилъ Ленѣ на плечи накидку, далъ ей въ руки зонтикъ, и мы пошли — сначала паркомъ, потомъ улицей по вѣрно запомненному направленію къ станціи желѣзной дороги. До прихода майнцкаго поѣзда, въ который Лена должна была сѣсть, чтобы ѣхать обратно въ Баденъ, оставалось еще около часа времени. Я шелъ, глядя себѣ подъ ноги и прислушиваясь къ шагамъ Лены, шедшей возлѣ меня. Мнѣ казалось, что мы съ ней вмѣстѣ поднялись на какую-то далекую отъ земли гору и продолжаемъ легко и быстро подниматься выше и выше. Мы уже очень высоко и черезъ нѣсколько шаговъ подойдемъ къ самому краю вершины, къ ея обрыву; но мнѣ не хотѣлось ни заговаривать, ни поднять головы и взглянуть, гдѣ мы? — чтобы не предвосхитить одному того восторженнаго чувства, которое сейчасъ должно охватить насъ обоихъ, когда развернутся разомъ и цѣликомъ, во всей полнотѣ ихъ красоты, необъятная ширь впереди и неизмѣримая бездна подъ ногами.

Мы стали переходить площадь, отдѣляющую въ Карлсруэ рядъ городскихъ гостиницъ отъ желѣзнодорожной станціи. Когда мы достигли середины площади, я услыхалъ, что Лена замедлила шаги и остановилась. Я остановился тоже.

XIII.

Площадь была пуста. Кое-гдѣ по сторонамъ, въ тишинѣ дремавшаго уже города, гулко раздавались шаги запоздалыхъ пѣшеходовъ. На станціи, переталкиваясь между собою, двигались взадъ и впередъ пустые вагоны и отъ времени до времени раздавался краткій свистокъ паровоза.

— Что же теперь? — произнесла Лена.

Я взглянулъ на нее: она была озарена лучомъ мѣсяца, и черты ея лица тихо и ясно свѣтились въ голубомъ сумракѣ этой тихой и ясной ночи, еще полной, только что видѣнными и слышанными, нами, образами и звуками.

«Вотъ», — подумалъ я, — «вотъ она, наконецъ, та вершина, еще такъ недавно едва видимая вдалекѣ и казавшаяся недоступною, къ которой съ такой неодолимой силою влекла насъ обоихъ судьба. Несбыточное становится дѣйствительностью: еще одинъ послѣдній шагъ впередъ — и мы тамъ, за рубежомъ, въ волшебномъ царствѣ, куда призывала Изольда.

Я взялъ руку Лены.

— Вы вѣдь не вернетесь теперь въ Баденъ? — Вы останетесь со мной? — сказалъ я, не поднимая на нее глазъ въ ожиданіи приговора.

— Останусь, — отвѣтила она.

— И мы отъ всѣхъ и всего уйдемъ прочь, уйдемъ въ даль... вмѣстѣ?

— Вмѣстѣ, — какъ эхо повторилось въ тишинѣ притаившей дыханіе ночи.

Словно переступивъ черезъ грозившую мнѣ смертью пропасть, я вздохнулъ широко, всею грудью, и поднялъ глаза.

Съ замершимъ на полуоткрытыхъ устахъ словомъ, откинувъ голову нѣсколько назадъ, какъ бы щурясь отъ ослѣплявшихъ ее лучей, Лена пристально и неподвижно смотрѣла въ глубину ночного неба, и передъ нѣгою этого ушедшаго въ безпредѣльность взгляда, въ нахлынувшей на меня волнѣ невыразимой радости, я всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ и за себя, и за Лену, которую, безсознательно обнявъ, прижалъ къ своей груди, что какая-то побѣдная, всемогущая сила, не подчиненная никакимъ внѣшнимъ условіямъ, никакимъ людямъ и никакимъ человѣческимъ законамъ, помимо всѣхъ и всего, помимо нашей собственной воли, взяла насъ въ свою власть и, поднявъ на недосягаемую для прочихъ людей высоту, готова была устремить съ этой высоты въ просторъ невиданнаго и неслыханнаго на землѣ счастья. Счастье это не должно и не могло ни на одно мгновеніе, ни единой чертой быть похожимъ на что-либо обыденное, ранѣе извѣданное, бывалое. Все подобное являлось въ моемъ сознаніи оскорбленіемъ Лены, омраченіемъ того солнца, какимъ она сіяла теперь передъ моими глазами. Счастье это я могъ себѣ представить только воплощеніемъ волшебства, сказки, — и мнѣ дѣйствительно показалось, что, какъ сказочный скиталецъ-богатырь, послѣ долгаго и труднаго пути достигнувъ, наконецъ, завѣтной цѣли, я увидалъ передъ

собою обитель томящейся въ плѣну сказочной царевны моей — Лены; мнѣ почудилось, что я остановился на конѣ подъ узорчатымъ окномъ ея высокаго терема, что я позвалъ Лену, что я слышу въ сѣняхъ ея торопливый, легкій бѣгъ; вижу, какъ въ беззавѣтномъ порывѣ мятежа и страсти, съ устремленнымъ ко мнѣ взоромъ, она появилась на крыльцѣ. Какіе-то люди бѣгутъ за нею и хотятъ ее удержать, но Лена уже близъ меня и протянула ко мнѣ руки; я охватилъ ея станъ, поднялъ отъ земли — легкую какъ перо и покорную, какъ ребенка — и перекинулъ черезъ сѣдло. Мигъ еще—и борзый конь, закусивъ удила и потряхивая мохнатой гривой, уже мчится вихремъ по раздолью зеленой степи, прочь отъ теремной неволи, прочь отъ моего минувшаго, отъ минувшаго Лены, отъ всего дѣйствительнаго и возможнаго, унося меня, вмѣстѣ съ радостно трепещущею на моихъ рукахъ, подъ поцѣлуемъ моимъ, драгоцѣнною ношей въ ту даль невѣдомаго и безымяннаго, откуда нѣтъ возврата.

И тамъ-то, въ той дали, грезилось мнѣ мое уже не сказочное, а дѣйствительное счастье съ Леной, счастье, какое я далъ бы ей, еслибъ она стала моею, жизнь на всемъ просторѣ Божьяго міра, на всей волѣ, въ играющемъ лучами и тѣнями чередованіи дней и ночей, въ яркой радугѣ и веселомъ хорѣ быстро смѣняющихся видѣній, образовъ, голосовъ. Блуждали бы мы съ Леной вдвоемъ по свѣту и никакія оковы, никакія цѣпи въ этомъ нашемъ общемъ, свободномъ, беззаботномъ блужданіи не тяготили и не привязывали бы насъ ни

къ мѣстамъ, ни къ людямъ. Въ пышной ли роскоши многоэтажнаго отеля, или въ тѣсномъ сумракѣ случайнаго ночлега, подъ тесовой крышей захолустнаго, постоялаго двора; въ нарядномъ ли вагонѣ, скользящаго по гладкимъ рельсамъ съ плавною быстротою, экспресса, или въ наскоро сколоченномъ тряскомъ тарантасѣ, уносимомъ ямскою тройкой въ дремучую глушь по пустынному проселку; въ снѣговыхъ ли вихряхъ и мятеляхъ косматой, сѣверной зимы, или въ лучахъ солнца, въ синевѣ и благоуханіи знойныхъ прибрежій полуденнаго моря—повсюду и всегда хорошо, привольно было бы намъ. И пока было бы намъ привольно и хорошо, пока были бы радостны наши взоры и горячи наши объятія, мы оставались бы неразлучно вдвоемъ, вмѣстѣ, любуясь красотою балующей насъ жизни, ничего въ ней не минуя безъ участливаго взгляда, но и ни на чемъ не останавливаясь, ни къ чему не привязываясь — какъ пчелы, что̀ перелетаютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, беря у каждаго и унося съ собою крупицу сладкаго меда. Весь Божій міръ со всѣми его очертаніями, красками и пѣснями, съ чудесами природы и чудесами искусства, служилъ бы лишь лучезарной храминой для пылающаго и поющаго пира нашей любви — и не страшились бы мы будущаго и не думалось бы намъ съ Леной о томъ, какъ и когда кончится пиръ и какая послѣ того постигнетъ насъ обоихъ участь!

Былъ ли то мигъ прозрѣнія души въ міръ иной, нездѣшней правды, или судьба, чтобы разомъ по-

кончить съ затянувшейся слишкомъ долго забавой, только вскинула меня выше прежняго, какъ шутя вскидываютъ разыгравшагося на рукахъ ребенка, передъ тѣмъ, чтобы поставить его нà ноги,— не знаю. Какъ бы то ни было, въ этотъ мигъ я увидалъ счастье лицомъ къ лицу — и оно само взглянуло мнѣ въ глаза такъ близко, такъ доступно и просто (въ особенности такъ просто!), какъ ранѣе я не испытывалъ этого въ жизни, да, конечно, и не испытаю болѣе никогда. Потомъ...

Но читайте дальше и поймите, если можете, чтò произошло потомъ.

Чьи-то приближающіеся къ намъ тяжелые, перебивающіе другъ друга шаги двухъ людей послышались на площади и одновременно раздался сиплый голосъ запыхавшагося отъ скорой ходьбы господина, который, съ дорожнымъ мѣшкомъ въ рукѣ, спѣша въ догонку за стремившеюся по направленію къ станціи дамой, говорилъ: «Aber, Liebchen, wozu eilst du so? Wir haben noch bis zum Zuge nach Baden eine ganze Halbestunde.

Лена вздрогнула и испуганно отшатнулась отъ меня.

Дама и господинъ, окинувъ насъ не то подозрительными, не то насмѣшливыми взглядами, прошли мимо.

Больше ничего не произошло, а между тѣмъ:

— Чтò же это такое? чтò я дѣлаю?—какъ бы пробуждаясь отъ глубокаго забытья, проговорила Лена.— Мнѣ вѣдь тоже надо уходить, надо торопиться на поѣздъ...

Я не хотѣлъ, я не могъ еще ни слушать, ни тѣмъ болѣе понимать что-либо, кромѣ зачаровавшей меня и съ такой грубостью прерванной сказки. Я глазами еще искалъ вокругъ себя ея видѣній, продолжалъ прислушиваться къ оборвавшемуся ея шопоту, чувствовалъ на себѣ зной внезапно вспыхнувшихъ и столь же внезапно угасавшихъ ея лучей. Сознаніе дѣйствительности до нѣкоторой степени пробудилось во мнѣ только тогда, когда я услыхалъ порывисто брошенныя мнѣ Леною слова: «я уѣзжаю домой, прощайте»—и увидалъ, что она и вправду куда-то быстро удаляется, отходитъ прочь, покидаетъ меня.

— Лена! что съ вами? куда же вы?—вырвался у меня умоляющій зовъ.

Лена обернулась на этотъ зовъ, метнулась было назадъ ко мнѣ, но остановилась на полушагѣ и застыла на мѣстѣ. Я подошелъ къ ней.

— Куда вы? что съ вами?—переспросилъ я.

— Я съ ума схожу,—вотъ, что̀ со мной. Я знала, что мнѣ не слѣдовало сюда пріѣзжать. У меня мужъ, у меня семья. Зачѣмъ я здѣсь? зачѣмъ я съ вами?... это безуміе, это бредъ... это невозможно, невозможно!—почти крикнула Лена въ ночную тишину, какъ бы жалуясь на что-то, какъ бы призывая кого-то къ себѣ на помощь. Потомъ она быстро отвернулась отъ меня, почти бѣгомъ направилась къ станціи и скрылась въ одной изъ ея дверей.

— Невозможно!—безсознательно повторилось во мнѣ, и я тутъ же почувствовалъ, что земля ушла изъ-

подъ ногъ, что я погружаюсь въ какую-то темную, бездонную пропасть...

«Она усомнилась!.. она испугалась!»—мелькнуло у меня въ головѣ—и это теперь, когда еще ничего нѣтъ, когда еще она вольна въ своихъ рѣшеніяхъ и поступкахъ. Что-жъ было бы, если бы этотъ страхъ, это сомнѣніе наступили послѣ, потомъ? еслибъ Лена, одумавшись, раскаялась въ томъ, что пошла за мной; еслибъ она попрекнула мнѣ когда-нибудь этимъ свиданіемъ и этой сказкой Тристана, и этой ночью, и мѣсяцемъ—словомъ, всѣмъ тѣмъ, что побуждало ее поднести къ устамъ запретный кубокъ и выпить изъ него охмеляющій, волшебный напитокъ? Что̀, если этотъ напитокъ, послѣ того, какъ далъ бы ей мгновенное счастье, сталъ потомъ на всю жизнь для нея, а можетъ быть и для меня самого, отравою?

При одной этой мысли что-то блѣдное и страшное, подобное смерти, приблизясь непосредственно ко мнѣ, дохнуло мнѣ въ лицо. И отъ этого дыханія вся душа затрепетала во мнѣ тою дрожью, какая скользитъ по вѣтвямъ деревъ, когда впервые касается ихъ случайно забѣжавшая впередъ, въ свѣтъ и тепло еще царящаго лѣта, струйка осенняго холодка, отъ которой желтѣютъ листья и блекнутъ цвѣты — едва ощутимая, тихая и даже какъ будто ласковая, но именно этою своею бережною ласкою и возвѣщающая подходъ близкой, ничѣмъ уже неотвратимой гибели. Кончено! — внезапно и грозно прозвучалъ гдѣ-то надо мной знакомый голосъ. Я узналъ его: голосъ былъ тотъ самый,

который при первой встрѣчѣ моей съ Леной, предсказывая любовь, остерегалъ отъ бѣды; но тогда это былъ только шопотъ, только едва внятное, отдаленное предвѣстье, подобное смутно пробѣгающему въ оркестрѣ Вагнеровскихъ «Нибелунговъ», задолго до развязки драмы, намеку на роковой ея конецъ. Теперь это была сама бѣда, самъ раздирающій душу трауермаршъ моего счастья, оглашающій чью-то злую, конечную побѣду надъ этой бѣдной, насмерть раненой душой и надъ ея любовью и надъ мечтою ея послѣдней!.. Кончено... кончено — словно ударяя въ тяжелые литавры, звучалъ надо мною голосъ, и какъ въ первую встрѣчу, заслышавъ его, я безъ колебанія тотчасъ же созналъ, что полюбилъ Лену,—такъ созналъ я и теперь, что Лена потеряна для меня навсегда.

И не то, чтобы я не вѣрилъ въ возможность вернуть ее себѣ, разсѣять ея сомнѣнія силою и правдою моей любви; совсѣмъ напротивъ. Я былъ почти увѣренъ, что мнѣ стоитъ сдѣлать одинъ только шагъ, вымолвить одно убѣждающее слово— и Лена, на мигъ отъ меня отшатнувшаяся, опять приблизится ко мнѣ и протянетъ мнѣ руку и пойдетъ за мной; но что-то роковое произошло въ это мгновеніе не съ Леною, а со мною самимъ; какое-то жгучее воспоминаніе проснулось и заговорило во мнѣ, какая-то завѣса, вдругъ, упала съ глазъ— надорвалось мое сердце, и я уже не властенъ былъ сдѣлать тотъ шагъ, вымолвить то слово, отъ которыхъ зависѣла вся дальнѣйшая, общая моя съ Леною судьба. Пестрая вереница событій и обра-

зовъ изъ моего прошлаго съ поразительной быстротой и отчетливостью (какъ это, говорятъ, бываетъ передъ потерею сознанія у утопленниковъ), пронеслась въ моей головѣ. Однимъ взглядомъ окинулъ я и опредѣлилъ—какъ никогда до того времени не опредѣлялъ—всего себя въ совокупности всѣхъ пережитыхъ когда-либо въ продолженіе жизни думъ, чувствъ, впечатлѣній—и вдругъ мнѣ стало совершенно очевидно, что не только все кончено, но что другого ничего не могло и быть. Ахъ, какъ все это, сверкнувшее молніей, трудно и долго выписывать перомъ на бумагѣ и какъ, выраженное словами, оно кажется неестественно и даже невѣроятно! А между тѣмъ подъ этой кажущейся невѣроятностью именно и кроется самая суть жизни, самая глубокая коренная правда, которую какъ суженую, даже сказочнымъ конемъ не объѣдешь. Она не въ первый уже разъ, словно по волшебству, словно изъ земли, внезапно выростала передо мною и становилась мнѣ поперекъ дороги. Помните, какъ давно, много лѣтъ тому назадъ, въ солнечное вешнее утро, въ зеленомъ оврагѣ надъ Москвой-рѣкой, эта самая правда, въ отвѣтъ на признаніе моей первой любви, изрекла надо мною устами Матреши приговоръ вѣчной разлуки. Испугалась за меня добрая, русская бродяжка и пожалѣла меня, зная скитальческую мятежную свою душу и не чая найти въ моей, тогда еще робкой, неокрыленной душѣ, ту вдохновенную удаль, ту силу, которая не торгуется съ судьбой и за единое мгновеніе полнаго счастья щедро кидаетъ ей

въ уплату всю остальную жизнь. Теперь, когда я, по предсказанію Матреши, самъ сталъ такимъ же, какъ и она, не домашнимъ существомъ, перекати-полемъ, скитальцемъ, — тотъ же, какъ и въ ней, страхъ, та же самая жалость охватили и меня: пробужденный отъ забытья внезапнымъ испугомъ Лены, я испугался самъ, я усомнился въ своемъ правѣ взять Лену и кинуться вдвоемъ съ нею въ призывно-раскрывшуюся передъ нами грозную, невѣдомую даль. А ну какъ я, да по примѣру моего тезки,—удалого атамана Степана Тимофеича,— заслышавъ иной призывъ, или просто соскучившись со своей сердечной зазнобой, возьму, да и выкину ее за бортъ крылатаго моего струга, а самъ поплыву дальше и она, утопаючи, да пошлетъ мнѣ вослѣдъ свое проклятье? что тогда будетъ?— Вотъ на какой призракъ я оглянулся, вотъ чего я устрашился; а гдѣ оглядка, гдѣ страхъ, тамъ уже нѣтъ и не можетъ быть даже мимолетной тѣни счастья. Къ чему же обманывать себя, обманывать Лену, закрывать глаза на дѣйствительность. «Не найти, не познать тебѣ, бродягѣ, въ любви счастья»,— таковъ былъ тяготѣвшій надо мною приговоръ, и позабытый въ чарахъ навожденія, но не отмѣненный онъ только приводился теперь въ исполненіе. Ударъ его уже палъ на меня; похоронный маршъ любви побѣдными раскатами гремѣлъ надъ моей головой... Нѣтъ, нѣтъ!—было бы безсмысленно еще продолжать въ чемъ-то сомнѣваться, на что-то надѣяться. Все происходило именно такъ, какъ неминуемо должно было произойти. Измѣнить, поправить,

вернуть ужъ ничего нельзя: я усомнился въ себѣ и пожалѣлъ Лену, и оттого-то Лена навсегда для меня потеряна, оттого-то я и долженъ отстраниться теперь съ ея пути, уйти прочь...

«А вѣдь это не легко, это тяжеле смерти; пожалѣете—пропадете»,—вдругъ вспомнились мнѣ прощальныя слова Матреши.—«За что?»—повторился также и мой вопросъ Пахтурову; но я рѣзко оборвалъ эти воспоминанія. Пропадать, такъ пропадать, только бы не губить!—раздался въ душѣ дѣтски-самоотверженный крикъ. Я поднялъ голову и съ глубокой, неисцѣлимой, хотя еще не разболѣвшейся въ душѣ раной, быстро пошелъ къ станціи, чтобы найти тамъ Лену и съ ней проститься.

XIV.

Я увидалъ Лену одиноко сидящею въ углу тускло освѣщенной газовымъ рожкомъ станціонной комнаты. Немногочисленные проѣзжіе всѣ уже перебрались на внѣшнюю площадку станціи и бродили по ней взадъ и впередъ въ ожиданіи поѣзда.

«Лена чувствуетъ себя виноватой предо мной и это ей тяжело,—подумалось мнѣ,—пойду успокою ее, прощу ей все то зло, все то страданіе, которое невольно, конечно, она мнѣ причинила; а затѣмъ...»

Но я не успѣлъ додуматься до того, что будетъ затѣмъ; увидавъ меня, Лена поднялась мнѣ на встрѣчу и, видимо, вся вновь ушедшая въ то царство сказки, гдѣ мы оба только что были вмѣстѣ

и куда ей казалось еще легко со мною вернуться, стала меня упрекать: «Что же вы оставляете меня одну,—не идете ко мнѣ? неужели вы повѣрили, что я уѣду въ Баденъ? развѣ послѣ всего сегодняшняго я могу возвратиться домой? а если бы и вздумала—развѣ вы меня пустили бы?»

Какъ видите, судьба съ утонченною жестокостью доигрывала со мной свою недобрую игру. Изъ всѣхъ когда-либо постигшихъ меня въ жизни испытаній, это послѣднее было, конечно, самымъ тяжелымъ и, признаюсь, почти для меня непосильнымъ; мнѣ приходилось самому разрушать свое счастье, собственною рукою отстранить Лену, спасая ее не отъ меня,—какъ я думалъ нѣсколько мгновеній передъ тѣмъ,—а отъ нея самой, какъ понялъ это теперь, когда увидалъ ее вновь поднявшуюся на вершину, съ которой самъ уже сорвался и откуда—въ воскресшемъ ли просвѣтленіи души, или въ новомъ припадкѣ недужнаго забытья (опредѣляйте, какъ знаете)—она съ довѣріемъ протягивала мнѣ руку.

Въ рѣшеніи вопроса, какъ поступить, я не могъ колебаться; слишкомъ очевидно было для меня, что возьми я только протянутую руку — и мы оба свергнемся въ пропасть. Но какъ высказать, какъ объяснить это Ленѣ, чтобы она все сразу поняла и повѣрила бы мнѣ? Несомнѣнна была лишь необходимость спасти ее, — спасти во что бы то ни стало, хотя бы цѣною моего униженія въ ея глазахъ, хотя бы понадобилось для того грубо оттолкнуть Лену, даже оскорбить...

Я молчалъ въ нерѣшительности.

Должно быть, однако, на лицѣ моемъ отразилось что-то странное, неясное для Лены, тревожное... Она вдругъ стала упорно глядѣть мнѣ въ глаза и чтобы не дать ей времени самой обо всемъ догадаться, я поспѣшилъ прервать молчаніе.

— Не для того, чтобы удерживать васъ, пришелъ я сюда, а чтобы проститься, — сказалъ я, стараясь не слыхать собственныхъ словъ и не смотрѣть на Лену.

— Я не уѣзжаю, я остаюсь съ вами, — послышался мнѣ ея, какъ всегда, прямой и простой отвѣтъ—и наши взоры всетаки встрѣтились.

Никогда не являлась мнѣ Лена болѣе прекрасною, болѣе желанною; никогда не любилъ я ее съ такимъ напряженіемъ души, съ такой страстью, какъ въ это мгновеніе, когда, отдаваясь мнѣ, она всматривалась въ меня потемнѣвшими отъ пристальности глазами и въ то же время свѣтилась улыбкой, торжествуя побѣду надъ сомнѣніями и, вдругъ, потомъ покраснѣла, какъ бы застыдясь своей откровенности, своей ко мнѣ такъ прямо высказанной близости.

Быть можетъ, эта самая напряженность чувства умиленнаго восторга и помогла мнѣ тогда устоять противъ обаянія Лены, не снять ее съ лазурной звѣздной высоты и не увести съ собой въ земную ночь, которая такъ страстно призывала и такъ нетерпѣливо ждала насъ за стѣнами этой комнаты, олицетворявшей своей темнотой, тѣснотой и обстановкой весь сумракъ, всю неволю, всю пошлость житейской дѣйствительности.

— Вы не можете оставаться, вы должны уѣхать,— заговорилъ я, — сами же вы сказали сейчасъ, что вамъ со мною здѣсь не мѣсто, что у васъ мужъ, что наши мечты — бредъ и безуміе, что наше счастье—невозможно.

— И вы теперь наказываете меня за это?

— Не наказываю, а покоряюсь роковому приговору.

— Но вѣдь это ужъ прошло... это была только одна минута...

— Да,—одна минута, но въ эту именно минуту и сказалась мнѣ цѣликомъ вся горькая правда, о которой я позабылъ, а вы напомнили.

— Какая правда?.. Что я напомнила?.. Вы вѣдь видите, что я теперь...

— Это была горькая, суровая, неумолимая правда— перебилъ я Лену, — и я не только за нее на васъ не сѣтую, но благодаренъ вамъ за нанесенный вовремя ударъ. Онъ отрезвилъ меня, онъ разсѣялъ туманъ, застилавшій передо мною пропасть, куда я васъ съ собою увлекалъ; и если вы еще не видите этой пропасти — я вамъ на нее указываю, чтобы спасти васъ.

— Но развѣ вы не слышите, что я вамъ говорю: я на все рѣшилась, я не хочу никакого спасенія,— произнесла Лена измѣнившимся голосомъ.

— Вы сами не понимаете на что рѣшаетесь,— вновь перебилъ я ее,—вы не понимаете ни себя, ни меня, ни какою любовью я васъ люблю.

— Что онъ говоритъ? — какъ бы про себя прошептала Лена, и лицо ея приняло выраженіе недоумѣнія и растерянности.

— Вы хотите, — продолжалъ я, переставъ уже слушать что-либо кромѣ собственныхъ мыслей, — вы хотите, чтобы я удержалъ васъ здѣсь, не пускалъ въ Баденъ. Нѣтъ, я не стану васъ удерживать; бросьте меня, поѣзжайте, возвращайтесь къ мужу, даже признайтесь ему въ вашемъ минутномъ увлеченіи, въ вашемъ капризѣ; онъ навѣрно проститъ—и заживете вы вдвоемъ благополучнѣе прежняго.

— Да не говорите же такъ!—воскликнула Лена, касаясь рукою моего плеча, какъ дѣлаютъ, когда хотятъ разбудить бредящаго больного.

— Вы глубоко ошиблись во мнѣ, — продолжалъ я, не обративъ вниманія на это прикосновеніе, — вы не знаете,—кто я и чего потребовало бы отъ васъ мое къ вамъ чувство, еслибъ я далъ ему волю. Можетъ быть, вы принимаете это чувство за тотъ пріятный, веселый обманъ, который въ нашемъ съ вами обществѣ, въ средѣ, гдѣ мы родились, выросли и живемъ, называется любовью. Вы, можетъ быть, думаете, что я могъ бы примириться съ ролью счастливаго любовника, котораго зовутъ на тайныя свиданія и выпроваживаютъ изъ дома, когда возвращается мужъ...

— Господи! что же это такое? за что вы меня оскорбляете!—тихо простонала Лена, — но и стонъ этотъ прозвучалъ какъ-то мимо, не коснувшись меня.

— А я... знаете ли, что я отъ васъ потребовалъ бы?—торопился я договорить.—Я потребовалъ бы, чтобы вы отреклись отъ всего вашего прошлаго,

чтобы вы бросили мужа, дѣтей, общество, чтобы ни на минуту, ни на секунду не задумываясь, безпощадно разбили вашу жизнь — и все это ради чего?—ради бреда, ради краткаго и, быть можетъ, призрачнаго счастья со мной — человѣкомъ безъ прошлаго и будущаго, вѣчнымъ бродягой, ничѣмъ вамъ не жертвующимъ и — поймите это хорошенько — ничего вамъ не обѣщающимъ! На такой подвигъ или, если хотите, на такое безуміе могла бы рѣшиться—и была бы въ силахъ исполнить свое рѣшеніе, никогда въ немъ потомъ не раскаявшись — только женщина...

Я пріостановился, заслышавъ громъ вбѣгающаго на станцію поѣзда.

— Договаривайте же — какая женщина? — очевидно не слыша поднявшейся вокругъ насъ станціонной суматохи и поблѣднѣвъ, спросила Лена.

— Какая женщина? Это было бы долго и трудно вамъ объяснить, да вы и не поняли бы, — отвѣчалъ я.

И образъ Матреши крылатымъ призракомъ пронесся передо мной.

— Во всякомъ случаѣ,—добавилъ я, вполнѣ сознавая, что тѣ слова, которыя я сейчасъ произнесу, положатъ непереступимую пропасть между мною и Леной,—во всякомъ случаѣ, не такая женщина, какъ вы, графиня... гдѣ вамъ!

Я не избѣгалъ взгляда Лены, я говорилъ отчетливо, спокойно, даже съ улыбкой, потому что уже не одна любовь и страхъ за Лену, а какое-то еще другое чувство, въ которомъ мнѣ стыдно теперь

самому себѣ признаться,—какая-то не то бродяжническая гордость, не то безшабашная отчаянность, побуждающая иногда русскаго человѣка кощунствовать и оскорблять наиболѣе чтимую имъ святыню, заговорила вдругъ моими устами.

Какъ подкошенная былинка, Лена молча опустилась на стоявшую позади скамью и, проведя рукою по глазамъ, поникла головой, какъ бы собираясь съ мыслями, какъ бы соображая что̀-то. Долго ли продолжалось это наше недоумѣвающее другъ передъ другомъ молчаніе? — не знаю. Въ дверяхъ комнаты кто̀-то что-то прокричалъ. Лена встала, взглянула въ окно на поѣздъ, взглянула на меня, потомъ опять въ окно и опять на меня. О, я хорошо, я навсегда запомнилъ этотъ послѣдній, брошенный Леною на меня взглядъ! Не раздраженіемъ, не гнѣвомъ или обидой, а глубокимъ, грустнымъ, прощальнымъ укоромъ проникъ онъ въ меня.

— Не правъ ты передо мной, несчастный человѣкъ! — казалось, вымолвилъ мнѣ этотъ взглядъ.

Потомъ Лена, не торопясь, вышла на площадку, подошла къ первому стоявшему противъ выхода вагону и ступила въ открытое настежъ пустое отдѣленіе.

Я хотѣлъ послѣдовать за Леной, но она движеніемъ руки остановила меня.

— Сейчасъ поѣздъ отойдетъ, не провожайте меня... не стоитъ... — сказала она и, притворивъ за собою дверцу, отошла къ противоположному окну отдѣленія, такъ что мнѣ больше не стало ее видно.

И съ исчезновеніемъ Лены, все разомъ вокругъ опустѣло, погасло, умерло. Я не слыхалъ ни ходьбы вокругъ меня, ни криковъ кондуктора, ни свистка; я не видѣлъ, какъ вагоны двинулись и укатились прочь; я не замѣтилъ, какъ самъ вышелъ на улицу и очутился на томъ мѣстѣ посреди площади, гдѣ такъ еще недавно мы стояли вдвоемъ съ Леной, вдохновленные, любящіе, почти счастливые. Теперь вокругъ меня дремали мертвыя зданія мертваго города, озаренныя холоднымъ блескомъ луны, подъ холоднымъ покровомъ ночи, и въ пустынѣ этой ночи я стоялъ одинъ — опять и навсегда одинъ— ни о чемъ не думая, ничего не чувствуя, только внимая, какъ постепенно замиралъ и смолкъ, наконецъ, въ отдаленіи шумъ поѣзда, унесшаго отъ меня Лену.

XV.

И потекли потомъ дни, недѣли, мѣсяцы—теперь уже прошли и годы, а я все такъ же, какъ въ то первое мгновеніе послѣ исчезновенія Лены, въ чуждой мнѣ людской толпѣ стою одинокимъ и потеряннымъ, посреди продолжающаго бѣжать мимо меня шумнаго, мутнаго потока незадѣвающей меня жизни. Я все спрашиваю себя: что постигло меня? что произошло со мной? — Но ничто ни вокругъ меня, ни во мнѣ самомъ не даетъ мнѣ отвѣта.

Лену я больше не видалъ. Я не искалъ съ ней свиданья. Одна мысль увидѣть вновь передъ собою ея чистый, свѣтлый образъ, услыхать ея голосъ,

встрѣтить ея взоръ, уже причиняетъ душѣ нестерпимую, почти физическую боль, и повстрѣчайся я съ Леною дѣйствительно — я, кажется, отвернулся бы отъ нея и отошелъ прочь.

Но встрѣчѣ этой, по всей вѣроятности, не суждено произойти болѣе никогда. По слухамъ, вскорѣ послѣ возвращенія изъ-за границы, съ Пахтуровымъ приключилась бѣда: старика разбилъ параличъ, и Лена перевезла его изъ Петербурга къ себѣ въ Варшаву, гдѣ она попрежнему живетъ съ мужемъ и семьей, мало выѣзжая въ свѣтъ, вся погруженная въ заботы о больномъ отцѣ и подрастающихъ дѣтяхъ. Мнѣ недавно сообщилъ эти свѣдѣнія князь X, съ которымъ я случайно встрѣтился. Глядя на запечатлѣвшуюся въ памяти моей, его тщедушную, подвижную фигуру, слушая его, пересыпанную французскими словами, рѣчь, я особенно живо вспомнилъ ту встрѣчу мою съ нимъ въ гостиницѣ на улицѣ Риволи, въ первый день моего знакомства съ Леной, когда съ такой смѣлой и беззаботной рѣшимостью я оттолкнулъ отъ берега мою застоявшуюся лодку и радостно пустился, очертя голову, въ открытое море, навстрѣчу волнамъ набѣгавшей на меня бури. Теперь, когда эта буря, наигравшись, натѣшившись мною и опрокинувъ лодку, давно уже выкинула меня полуживого обратно на тотъ же пустынный берегъ, при видѣ свидѣтеля ея перваго вѣянія и волненія и при упоминаніи имени графини Броневской, во мнѣ съ особенной настойчивостью, съ особенной жгучестью пробудился, не однажды уже и ранѣе

возникавшій въ душѣ вопросъ: сознаетъ ли Лена всю цѣну той жертвы, которую я ей принесъ, разставшись съ нею? лихомъ, или добромъ поминаетъ меня она, да и поминаетъ ли вообще? Или все происшедшее тогда въ Парижѣ и потомъ въ Карлсруэ промелькнуло въ ея существованіи безслѣдно, какъ путевое приключеніе, не стоющее того, чтобы о немъ долго вспоминать? Вѣдь какъ тогда, такъ и до сихъ поръ, я не знаю: была ли мечта, воплотившаяся передо мною въ образѣ Лены, только сонъ, только навожденіе, или судьба, сблизивъ съ нею, дѣйствительно подвела меня къ рубежу обѣтованной земли, къ неоцѣненному кладу, къ сокровищу женской души, способной вспыхнуть, просіять и сгорѣть до-тла въ пламени единаго чувства, властной познать полноту любви и одарить ею, въ порывѣ хотя бы мимолетнаго и неповторимаго вдохновенія—какимъ счастье, по убѣжденію Иванова, только и дается людямъ на землѣ? Но кто, кромѣ самой Лены, могъ бы отвѣтить на этотъ томительный, не дающій мнѣ покоя вопросъ? Кромѣ нея, безмолвно отъ меня скрывшейся и ни разу потомъ не подавшей мнѣ голоса изъ своего далека, кто могъ бы сказать: долженъ ли я былъ взять счастье или былъ правъ, отказавшись отъ него? и если я долженъ былъ его взять — почему все внутреннее сознаніе, вся совѣсть моя, такъ неодолимо возстали и отторгли меня отъ Лены? а если я былъ правъ — зачѣмъ такъ долго и неослабно, безъ всякой надежды на исцѣленіе, болитъ душа, не въ силахъ примириться съ утратою оза-

рившей и согрѣвшей ее мечты? О, эта невозвратная мечта! эта послѣдняя, раскрывшаяся передъ глазами моими, даль! Какимъ мягкимъ, лучистымъ, ласковымъ взглядомъ она меня поманила, какимъ вкрадчивымъ, задушевнымъ голосомъ позвала! А теперь, преслѣдуя неотступнымъ воспоминаніемъ, она же — эта мечта — порою являясь въ сновидѣніяхъ, меня спрашиваетъ: развѣ забыть нельзя? и что-то уже недоброе, похожее на насмѣшку сквозитъ въ ея взорѣ и звучитъ въ голосѣ. Да какъ же забыть! — когда любовь проникла въ самую глубь, въ самое сокровенное святилище души и я, какъ самоё душу, повсюду ношу ее съ собою! Отъ себя не уйдешь, не убѣжишь никуда. И знаете ли?— таково поистинѣ загадочное свойство славянской природы:—я уже не хочу бѣжать, не хочу забыть! Мнѣ стала дорога эта моя неволя, это неподвижное воспоминаніе о Ленѣ и моя по ней печаль. Мнѣ было бы тяжело, было бы даже какъ-то страшно съ ней теперь разстаться, потому что она одна привязываетъ меня къ жизни, наполняетъ ее и вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими далекими и дорогими воспоминаніями, помогаетъ нести бремя безпросвѣтнаго, безысходнаго одиночества. Исчезни изъ памяти это невозвратно минувшее—и не нужна мнѣ стала бы сама жизнь, и я бросилъ бы ее, оступившись съ первой скалы въ первую попавшуюся мнѣ подъ ноги пропасть, чтобы прекратить безсмысленное страданіе и уйти въ ту, уже не здѣшнюю, не земную даль, которая широко раскрываетъ объятія всѣмъ извѣрившимся, истомлен-

нымъ и изстрадавшимся скитальцамъ, не нашедшимъ себѣ пристанища на землѣ.

Пусть же не покидаетъ меня моя печаль; пусть призракъ погибшей любви слѣдуетъ за мною неотлучнымъ, вѣрнымъ спутникомъ въ послѣднихъ, конечно, уже недолгихъ переходахъ моего земного странствованія — и буду я до конца моихъ дней, не отрываясь, внимать безнадежному, но родному его призыву, какъ заунывной, протяжной русской пѣснѣ, что̀ льется, лаская и надрывая душу, въ тихіе, поздніе часы, при угасаніи вечернихъ зорь, надъ пустынными просторами и далями моей родины.

КОНЕЦЪ.

Подписано 18/31 мая 1927 г.
Рига

Stanford University Libraries
3 6105 019 707 806

Stanford University Libraries
3 6105 019 707 806